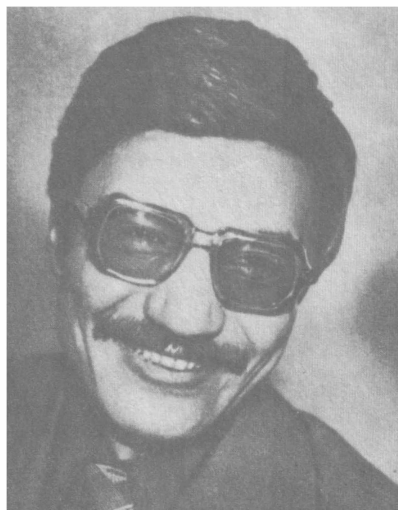


РОМАН ГАЗЕТА

№24(862) · 1978



ПОИСК

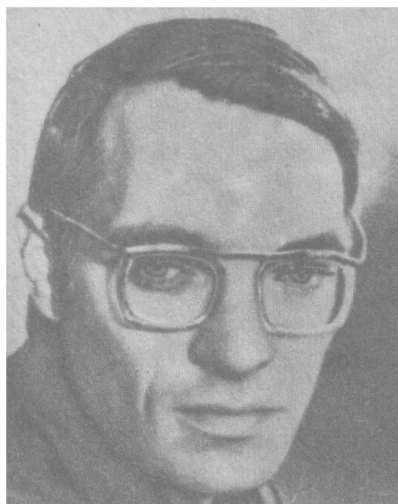


САТТОР ТУРСУН родился в 1946 году в горном селе Байсунского района Сурхандарьинской области. Там, на его родине, до сих пор живы непосредственные участники революционных преобразований, жив тот дух борьбы за новое, прогрессивное, который ныне превратился в традицию, духовный багаж народа.

Это в основном и старается отразить в своих произведениях Саттор Турсун, этому посвящены его повести «Молчание вершин», «Лук Рустама», «Корни» («Пайванд»). Но начинал он с рассказов, которые продолжает писать и сейчас, создав в этом жанре несколько произведений, заслуживающих самого доброго внимания.

Саттора Турсуна волнуют проблемы нравственные — это самая примечательная черта его творчества. Думается, она и определит дальнейший путь творческого развития молодого писателя, который уверенно идет в пору своей зрелости, познавая и раскрывая глубокий и многомерный мир человека и через него — жизнь вокруг нас.

МУМИН КАНОАТ



Не хочется говорить о молодом писателе избитыми словами: «подающий надежды», «способный», «знающий жизнь». Читатель сам во всем разберется.

В литературу **ПЕТР КРАСНОВ** пришел своим путем. Закончив в 1972 году агрономический факультет Оренбургского сельскохозяйственного института, он работал главным агрономом, затем — в отделе областного управления хлебопродуктов. Сейчас Петр Краснов — сотрудник многотиражной газеты треста «Оренбурггазстрой».

Первая книга Петра Краснова называется «Сашкино поле». Все рассказы ее объединены большой любовью к родной земле. На Всесоюзном конкурсе на лучшую первую книгу молодого автора Петр Краснов удостоен за эту книгу первой премии и диплома первой степени.

Хочу пожелать читателям внимательного знакомства с этим писателем. Думаю, что имя Петра Краснова войдет в большую советскую литературу, и тогда читатели с удовольствием вспомнят, что уже встречали его на страницах «Роман-газеты».

ВИЛЬ ЛИПАТОВ



С уверенностью могу сказать, что **НАДЕЖДА КОЖЕВНИКОВА** работает в литературе и талантливо, и очень активно. Под активностью я понимаю прежде всего постоянное общение с жизнью. Молодая писательница не просто знакомится с ней в своих многочисленных путешествиях по стране, а изучает, исследует, размышляет... Именно из жизни приходят ее герои на страницы повестей, рассказов, очерков. Такой путь всегда плодотворен. Он характерен и для мастеров старшего поколения, у которых Надежда Коженикова учится.

Я сказал: повести, рассказы, очерки. Да, во всех этих жанрах успешно проявила себя молодая писательница. Стало быть, она не отправляется в плавание, а уже находится в нем. Пусть же это плавание будет и впредь большим и счастливым!

АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН

РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927 г.

№24(862)
1978



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

ПОИСК

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

ПУТЬ К ЗРЕЛОСТИ

Принципиально важное для всей нашей литературы Постановление ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью» выражает объективную тенденцию и потребность действительности, тенденцию, поддержанную XXV съездом КПСС. «Мы рады, — говорил на съезде Л. И. Брежнев, — что все увереннее входит в жизнь молодое поколение нашей творческой интеллигенции. Настоящий талант встречается редко. Талантливое произведение литературы или искусства — это национальное достояние».

Что представляет собой молодое поколение творческой интеллигенции, которое приходит в самые последние годы в нашу литературу? Вопрос этот все настойчивее ставится сегодня в литературной критике. Вопрос чрезвычайно важный. Ведь пройдет какое-то время — и сегодняшние молодые будут определять литературный процесс, направлять его. По их книгам во многом мир будет судить о нашей стране, нашем обществе будущих десятилетий.

Когда ставишь развитие литературы в такого рода контекст, поверя вновь появляющиеся и уже работающие в литературе таланты наличием культурного, духовного наследия нашего прошлого, ответственностью исторических задач настоящего и грандиозностью перспектив будущего, — поневоле вырабатывается трезвость и скромность оценок и самооценок, растут критерии требовательности.

Но высота критериев не должна приводить нас к самоуничижению, которое паче гордости, не должна заслонять то, что перспективно и талантливо, что заслуживает внимательного к себе отношения, анализа и поддержки.

За последние годы появился ряд интересных произведений молодых писателей, идущих от жизни и с немалой силой и страстностью вторгающихся в нашу жизнь.

В свое время «Роман-газета» своевременно и серьезно поддержала молодых, выпустив сборник их произведений «Трудовые меридианы» с предисловием Г. М. Маркова. Потом был второй сборник «Великие версты» — о строителях БАМа, положительно оцененный на Шестом съезде советских писателей.

И вот «Поиск» — новый сборник, представляющий читателю имена, пришедшие в нашу литературу в самое последнее время, большую частью — участники VI Всесоюзного совещания молодых.

«Держать строй!» — в этих словах, фигурально, выражается пафос нового сборника.

Об этом, об «ощущении строя», возникающем у молодых солдат, призванных на «действительную», мужественно и поэтично, по определению Михаила Стельмаха, рассказывается в повести начинающего украинского прозаика Игоря Кравченко «Солдатский остров». Повесть эта, написанная после службы в рядах Советской Армии, — первое его прозаическое произведение, сразу же заслуженно получившее завидную литературную судьбу: повесть была переведена на русский язык и с предисловием лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда М. Стельмаха напечатана отдельной книжкой в издательстве «Молодая гвардия», а сам автор удостоен чести быть участником VI Всесоюзного совещания молодых.

«Я часто думаю о своих ровесниках, седых ветеранах — бойцах, отстоявших родную землю, спасших человечество от фашизма, и думаю о детях наших, о сыновьях, стоящих ныне на страже мира... Время движется вперед. На смену ветеранам пришли новые поколения солдат и новые поколения литераторов, которым воспевать мирные будни народа — труженика и воина, постигать глубинное содержание жизни народной», — пишет в своем предисловии к повести Игоря Кравченко Михаил Стельмах. Мудрые слова эти можно распространить на все произведения, которые печатаются в этом номере «Роман-газеты», произведения, достойно представляющие самую молодую литературу.

И хоть, казалось бы, грешно применять к литературе, искусству вольному и широкому, могучему как раз своеобразием талантов, их резко очерченной индивидуальностью, самобытностью слова, эти чисто воинские слова об «ощущении строя», — ощущение это тем не менее возникает, когда читаешь прозу, представленную в номере «Роман-газеты». При всей разности жизненных судеб и творческих индивидуальностей молодых прозаиков это «ощущение строя», ощущение общности возникает в связи с тем внутренним миром, которым живут молодые и который на удивление целостен и един при всех творческих, жизненных и даже национальных различиях авторов.

В самом деле, здесь представлены русские Петр Краснов и Надежда Кожевникова, украинец Игорь Кравченко, таджик Саттор Турсун, уйгур Турган Тохтамов, бурят Гарма-Доди Дамбаев — писатели, работающие в самых разных творческих манерах. Общим для них является молодость как жизненная, так и литературная, и глубинность, органичность их связей с жизнью народа.

Читая их прозу, воочию видишь, что, прежде чем прийти в литературу, каждый из них прошел трудовую, серьезную школу жизни действительной, — будь то трудное военное или послевоенное детство, армия или завод, колхоз или совхоз. Этот жизненный и душевный опыт, неразрывность связей молодых с жизнью народа, не могли не сказаться на творчестве, именно они определяют не только тематическое своеобразие новейшей молодой прозы, но и ее мироощущение, активный, гражданский, патриотический пафос.

Тридцать с лишним лет прошло, как кончилась война. Четыре года войны и тридцать три — мира. Большинство из авторов сборника «Поиск» родилось уже после войны или же встретило войну во младенчестве и не помнит пламень войны, ее горечь и мужество, боль поражения и восторг побед, ее голод, беду, нечеловеческий труд.

Но — удивительная вещь!.. — видно, таким глубоким рубезжом в жизни народной явилась Великая Отечественная война, что и для них, детей по преимуществу послевоенных лет, тема войны так или иначе остается той точкой внутреннего отсчета, той нравственной мерой, которой они меряют героев своих книг.

Она живет прямо — через воспоминания детства, опаленного войной, — в рассказе уйгура Тургана Тохтамова «Слово отца», рассказе страстном и нежном одновременно, посвященном тому прекрасному и героическому поколению, поколению наших родителей, на чьи плечи пала тяжесть победы над страшным врагом.

Писатель обратил на себя внимание рядом своих рассказов, и, в частности, рассказом «За холмом», который займет свое скромное, но самостоятельное место в той художе-

ственной летописи подвига советской женщины в годы войны, которую давно ведет наша литература, заметными, крупными, яркими страницами которой стали романы и повести Ф. Абрамова, Ч. Айтматова, М. Алексеева, В. Распутина и других наших писателей старших поколений, явно воспринимаемых Т. Тохтамовым в качестве своих учителей. При всей колоритности и своеобразии народной уйгурской жизни, убедительно воссозданных молодым писателем, привлекает в этом рассказе не столько своеобразно уйгурское, сколько — общезначимое, общесоветское, общечеловеческое: подвиг народа в годы войны, народные, трудовые характеры, бескорыстные и беззаветные в труде во имя отчизны. Прекрасна мать героя, чистая и светлая женщина, ожидающая мужа с войны, в каждом движении своей души верная себе, своей любви к мужу, семье, отчизне и несправедливо оклеветанная низкими, злыми людьми; запоминается председатель колхоза Садык-ака, больной, хромой, но редкой внутренней красоты человек, волей и силой которого держался колхоз тех трудных военных лет.

«Слово отца» — очень важный для автора и для читателя нравственный мост, соединяющий внутренне прошлое и настоящее, подвиг войны и бремя мирного труда. Этот рассказ — о письме отца, единственном письме, которое он успел прислать с фронта, а вторая весть об отце пришла в семью в виде похоронки три года спустя после того, как кончилась война. А точнее, это — рассказ о том, что значило для героя это письмо отца, которого он не видел, не помнил (сам автор родился за год до войны), но тем сильнее звучали для него напутствием на всю жизнь адресованные матери строки из единственного письма отца: «Не сегодня-завтра снова в бой. Хоть вы и далеко, но у меня такое чувство, будто под Москвой защищают наш городок... Постарайся, чтобы сын стал человеком».

Очень трудно избежать риторики или даже сусальности, обращаясь к такой прямой и ясной, казалось бы, до банальности теме. Но именно потому, что для автора это не просто тема, но — жизнь, жизнь его сердца и души, что за всем этим — реальное жизненное и нравственное обеспечение, в безыскусности и простоте этого скромного рассказа живет большая естественность и психологическая правда повествования.

Тема войны звучит и в необычном, тонком, своеобразном рассказе Надежды Кожевниковой «Концерт» — о встрече профессора-органиста со старинным немецким городом, где он когда-то находился в фашистском концлагере, о встрече со своей юностью, с памятью тех страшных лет, органично звучащей для него в Бахе. Художник «играл Баха — то, о чем бессмысленно словами сказать, о самом человеческом — о человеческом страдании».

В таком соседстве, в таком контексте, рядом с прозой, посвященной памяти Отечественной войны, ее солдатам, ныне столь часто умирающим от старых ран, по-новому, по-особому звучит и повесть Игоря Кравченко «Солдатский остров», призыв этой повести, обращенный к солдатам: «Держать строй!» Держать строй по отношению к высоким традициям воинской славы — и шире: по отношению к делу дедов и отцов, оставивших в наследство сегодняшним молодым великие предания и великую ответственность. Ответственность за Родину, за революцию, за социализм.

Лирическая повесть Игоря Кравченко, где, как по справедливости написал в предисловии М. Стельмах, молодой писатель «по-своему, с любовью рассказал о сегодняшнем юноше, комсомольце в солдатской шинели», наполнена точно подмеченными, невыдуманно, правдивыми деталями современного воинского быта. Она показывает, что ратный труд сегодня, о котором мы так мало знаем, ибо о современной нашей армии написано считанное количество талантливых книг, труд этот и в мирной обстановке сегодняшних дней по степени трудности, напряженности, ответственности, а подчас — опасности и риска часто бывает приближен к военной обстановке. И сегодня, утверждает Игорь Кравченко своей повестью, армия — это великая школа мужества, нравственности и труда.

Чувствуется, как трудно давалось молодому писателю слово, которым адекватно можно было бы выразить «ритм солдатской жизни», как боролся он со свойственным, видимо, ему дурным пристрастием к красотам, так и не преодолев его до конца. Но важно понимание, которое пришло к молодому писателю с годами службы, что о солдатах надо писать «языком мужчин», важно понимание, что такое солдат и что такое Советская Армия, являющаяся частью нашего народа.

Любовь к Родине — большой и малой, где ты родился и вырос, в продолжение традиций великой русской и советской литературы, и в частности прозы о деревне последних

лет, сквозной темой проходит через книги молодых независимо от того, русские они или украинцы, таджики или буряты, дети великих или малых народов, составляющих Советский Союз. Любовь к Родине для наших писателей, молодых в том числе, — глубоко патриотическое и одновременно подлинно интернациональное чувство, где сочетаются желание блага Родине и уважение к другим народам.

В первых книгах молодых писателей чувство это чаще всего проявляется и осмысливается через воспоминания детства, волшебство изначальной памяти о тех временах и тех местах, где человек начинал свой жизненный путь. «Здесь родина моя, родина всего, что есть во мне, — размышляет герой рассказа Петра Краснова «Наше пастушье дело» инженер Николай, приехавший в родную деревню на несколько дней, поскольку подошла очередь его старым родителям пасти коров. — Оно потеряно, его не наверстать теперь, но живо. Что-то доживает еще здесь мое, оставшееся навсегда. Оно тоже умрет, но нескоро, пока жив буду я сам, моя память...»

Эта ностальгия по детству, ностальгия по «малой Родине», ностальгия по прошлому русской деревни, такому трудному и столь прекрасному, не идет у Петра Краснова далеко, — он и всего-то живет на свете неполных тридцать лет. Она навеяна щемящим чувством встречи теперешнего горожанина с родными сельскими местами, не случайно рассказу предпослано авторское посвящение: «Моим родителям, Анне Ивановне и Николаю Семеновичу, посвящаю». Ностальгия эта, бесспорно, помимо жизненных, имеет и литературные корни: на прозе Петра Краснова, некоторых других молодых писателей лежит печать влияния В. Белова, В. Астафьева, Ф. Абрамова, В. Распутина... Что же, учителя неплохие! Но тем труднее выбиться из-под столь могучего литературного влияния на собственную дорогу, которая, конечно же, будет продолжением традиции, но — не повторением ее!

Проблему эту, трудность эту явственно ощущает на себе Петр Краснов. Он пытается в лучших рассказах идти своим путем и видит этот путь в отходе от некоторого налета идиличности, который подчас сопутствовал нашей прозе о деревне, когда она всматривалась в исторические дали, той идиличности, которая есть следствие любви. Петр Краснов так же страстно любит мир, его породивший и окружающий поныне, не раз открыто и пламенно клянется в этой любви. Но его любовь — чувство требовательное, деятельное и подчас суровое, не приемлющее того, что противоречит его идеалам и представлениям о человечности, устремленное к тому, чтобы Родина, большая и малая, люди, населяющие ее, были чище, лучше, одухотвореннее.

Таким чувством наполнен его рассказ «Шатохи», где мир постигается глазами деревенского мальчишки-школьника, получающего от окружающих его взрослых людей страшный нравственный урок. Он оказывается свидетелем и участником облавы, которую ведут деревенские мужики на стаю бродячих собак, потрепавших на пути из школы и его, и нравственное чувство мальчишки восстает против этой жестокости, казалось бы, и необходимой по законам бытовым, однако — преступной по законам нравственным. Но, быть может, большее всего сердце мальчика ранит то обстоятельство, что мало кто из взрослых, если не считать, пожалуй, пьянчужки Фильки, понимает это.

Вот эта активность чувства любви к своей Родине и ее народу, требовательность и действенность этой любви — одно из приметных качеств прозы молодых. Эта проза социально активна в борьбе с пороками и мерзостями жизни, ее нравственный критерий, вырабатываемый в такой борьбе, достаточно высок.

Непримиримостью ко лжи, фальши, корыстолюбию отмечен рассказ «С утра до вечера» таджикского писателя Саттора Турсуна. Молодой писатель бесстрашно бросается в бой с тяжким наследием дурных национальных обычаев и предрассудков, с пережитками, помноженными на «нажитки» в виде очковтирательства, обмана государства, неприкрытого стяжательства. В рассказе «С утра до вечера» писателем создан впечатляющий образ дяди Камола, упорного поклонника патриархальной старины, с ее традициями калыма и других поборов, выродившимися в современных условиях в форму прямого рабчества и скопидомства.

«Что я хочу сказать, племянник, — говорит Камол юноше Самаду. — Хорошие времена настали! Мирно, все дешево, всего в изобилии. Короче, все живут себе спокойно, конечно, у кого голова на плечах... В наше время главное, чтобы все ходы-выходы знать — только так дела делаются!»

Этот яростный сторонник патриархальных обычаев, в таком совершенстве постигший ультрасовременную мораль дельца, душа в душу живет с директором совхоза Обидовым, подобным ему в наглости стяжательства.

Коллизия рассказа состоит в том, как медленно, но неуступчиво и неуклонно пробуждается гражданское самосознание, активность жизненной позиции в противостоянии и борьбе с такими вот Камолами и Обидовыми у главного героя рассказа шофера Самада. Правда, реакция Самада на лицемерие и стяжательство дяди, на бездушие Обидова скорей стихийная, чем осознанная, он в силах противостоять дяде, но не готов пока что начать осознанную, последовательную борьбу с силами зла, воплощенными в Обидове. Решение конфликта обещает неожиданный приезд в совхоз секретаря райкома — «цухал недовольный... Никак не пойму, о чем наш директор думает».

Но ведь думать об общем деле должен не только директор, тем более такой, как Обидов, думать и бороться за интересы дела обязан каждый уважающий себя, обладающий зрелым гражданским самосознанием, подлинно советский человек. Самад и его друг Саид еще только идут к такого рода самосознанию, являющемуся основой активного жизненного поведения личности.

Активность нравственной позиции героя в жизни и литературе — коренная и пока что не решенная до конца проблема прозы молодых. Молодые нащупывают эти решения — и повести, рассказы, представленные в данном сборнике, подтверждение тому. Молодых не может не волновать вопрос: кто же и что реально противостоят в нашей жизни злу, воплощенному в характерах того же Обидова и дяди Камола в рассказе Саттора Турсуна? Кто сегодня, в условиях мирного труда, достойно продолжает революционные, воинские традиции дедов и отцов? Совсем юные Самад и Саид из рассказа «С утра до вечера»? Да, они идут к этому и, убежден, если будут верны себе, придут к граждански активной позиции, достойной уважающего себя человека. Они — на пути к зрелости. Но — на пути!..

Пожалуй, наиболее значительным произведением из представленных в сборнике является повесть «Гунсэма» молодого бурятского прозаика Гарма-Доди Дамбаева. Написанная уверенной рукой, с глубоким проникновением в душу родного бурятского народа, в глубинную специфику того, что мы называем народным, национальным характером, повесть эта знакомит нас с удивительно ярким и сильным образом современной бурятской женщины, чабана Гунсэмы. Что-то былинное, эпическое слышится в этом могучем народном характере, нарисованном с огромной любовью и полной достоверностью. Сочетание национальных культурных традиций с опытом русской прозы дало хорошие, добрые плоды: и сама Гунсэма, труженица, воительница, хранительница домашнего очага и одновременно — хозяйка большого и трудного дела, хозяйка огромных отар, которые она стережет от пурги, волков, болезней и несчастий с незаурядным мужеством; и ее дочка, семилетняя Бутид, достойная дочь своей матери, хозяйничающая в юрте, пока мать пасет овец; и знаменитый чабан Цыбан, муж и отец, передовик труда, о котором трубят все газеты и который на поверку оказывается спившимся, разложившимся, деградировавшим человеком, — все эти характеры предстают живыми.

Мы не можем вместе с автором не любоваться красотой и мужеством Гунсэмы, — но не соглашаемся до конца с позицией автора в одном: как может такая сильная и цельная женщина, как Гунсэма, терпеть около себя такое вконец опустившееся животное, как Цыбан? И не только терпеть, но еще и подчиняться ему?..

Вопрос этот — о поиске и утверждении в литературе молодых современного героического характера, который не может не быть граждански зрелым и смелым, глубоко идейным, коммунистическим характером, — принципиальный для прозы молодых. По нему сегодня осуществляется проверка на зрелость, зрелость социальной, философской, общественной мысли прежде всего.

Молодые не могут не задуматься над тем, что, конечно же, первым условием подлинной литературы является талант, но и талант не более чем условие для настоящей, большой литературы. Условие, которое реализуется в нечто значительное лишь в том случае, если есть собственная гражданская внутренняя позиция, есть личность.

Одно из главных условий творчества — масштаб личности писателя, уровень его человеческой и гражданской зрелости. Каковы же пути движения к такого рода зрелости? Мне представляется, что писатель начинается с чувства кровной сопричастности к той жизни, которая его окружает, с глубокого и максимально полного познания этой жизни.

И то и другое, по крайней мере, — стремление к тому и другому у наших молодых прозаиков налицо. Знание реалий жизни, стремление постичь диалектику отношений между людьми, к чему стремятся молодые, — непрменные условия успешного писательского творчества. Необходимые, но — исчерпывающие ли это условия?

Знание художником жизни непременно должно включать и такой необходимый компонент художественного творчества, как мысль, осмысление художником изображаемого. Этот компонент — уровень социально-философского, нравственно-философского осмысления жизни — всегда был одним из определяющих в литературе. Сегодня стбит об этом напоминать потому, что в современной нашей молодой литературе до сих пор силен, если можно так выразиться, искус «нутра», ориентация лишь на непосредственные впечатления как исчерпывающую почву художественного творчества. Это, мне думается, очень ограничивает писателя.

Говоря об условиях художественности, Л. Н. Толстой, писал В. А. Гольцеву в 1889 году (слова эти особенно полезно помнить, размышляя о творческой судьбе молодых): «Произведение искусства хорошо или дурно от того, что говорит, как говорит и насколько от души говорит художник». И далее он так конкретизировал свою позицию: «1. Для того, чтобы художник знал, о чем ему должно говорить, нужно, чтобы он знал то, что свойственно всему человечеству, и, вместе с тем, еще неизвестно ему, т. е. человечеству. Чтобы знать это, художнику нужно быть на уровне высшего образования своего века, а, главное, жить не эгоистической жизнью, а быть участником в общей жизни человечества. И потому ни невежественный, ни себялюбивый человек не может быть значительным художником. 2. Для того, чтобы говорить хорошо то, что он хочет говорить... художник должен овладеть мастерством... 3. Для того, чтобы от всей души говорить то, что он говорит, художник должен любить свой предмет. А для этого нужно не начинать говорить о том, к чему равнодушен и о чем можешь молчать, а говорить только о том, что страстно любишь...»

Из этих трех условий творчества главным Толстой считал последнее: «Нерв искусства есть страстная любовь художника к своему предмету».

Обнадеживающей и воодушевляющей чертой творчества как представленных, так и многих не представленных в данном сборнике молодых писателей является как раз то, что они богаты страстной любовью к предмету своего творчества, каковым для них является прежде всего жизнь родной страны и родного народа в глубинных ее проявлениях. Крайне важно, чтобы более или менее успешно начинающие свою жизнь в литературе таланты овладевали и остальными условиями творчества — поднимались до уровня «высшего образования» своего века, стремились жить не «эгоистической жизнью», но быть участниками общей жизни страны, народа, человечества, овладевать мастерством. Чтобы каждый из них и в жизни и в творчестве становился личностью.

Масштаб личности!.. Вот главное в формировании и развитии таланта молодых. Чтобы талант состоялся, выработался во что-то серьезное, необходимо то, что именуется масштабом личности, — вся великая история русской и советской литературы тому пример. А масштаб личности писателя определяется объемом тех болей и радостей людских, которые он способен принять в свою душу, служением самым передовым и истинным идеям века, наконец, знанием, которое художник в силах пропустить через ум, душу и сердце. «В просвещении стать с веком наравне!» Так называемое знание жизни в литературе — категория особая. Она вмещает в себя не только эмпирическое знание реальной жизни, но и глубину, точность и истинность понимания реальной действительности во всей сложной диалектике ее исторического развития, наконец, личную причастность к историческим судьбам Родины, любовь к родному народу, активность и осознанность авторской позиции, гражданственный взгляд на мир.

Пожелаем же молодым писателям, представленным в сборнике, именно такого, воистину доброго пути!

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ,

*секретарь Правления СП СССР,
первый секретарь Правления
Московской писательской организации*

САТТОР ТУРСУН

С УТРА ДО ВЕЧЕРА

РАССКАЗ

Авторизованный перевод с таджикского С. Шевелева

1

Накануне Самаду пришлось работать допоздна, и сейчас, ранним утром, он крепко спал на суфе¹ во дворе своего дома, как обычно с головой накрывшись одеялом. Черные поношенные брюки и голубая рубашка в клеточку аккуратно были сложены возле постели, а сверху — выгоревшая помятая кепка, давно позабывшая, какого цвета была она при покупке. Все это пахло полем, и пылью, и сеном, и машинным маслом... Из густой зеленой кроны карагача, затенявшей суфу в солнечные дни, доносилось чирикание одинокого воробья.

Мать Самада, нестарая еще, тоненькая и хрупкая с виду женщина в синем траурном платье, подошла к суфе и тихонько тронула рукою одеяло.

— Самад... Вставай, сынок...

Самад приподнялся, опершись на локоть, вытащил из-под подушки часы, ремешок которых потемнел и потрескался от жары и пота, глянул.

— Так ведь еще рано, мама, — он было снова укрылся одеялом.

— Вставай, сынок, твой дядя пришел... неудобно... Говорит, дело у него к тебе.

Полежав еще минуту или две, Самад заставил себя подняться, оделся, взял полотенце и не спеша отправился к арыку, который пересекал их двор, а ниже, еще за несколькими дворами и садами, крутил жернова кишлячной мельницы.

Опустившись на корточки и с наслаждением черпая пригоршнями холодную воду, Самад думал о том, какое же это дело привело к ним дядю. Видно, с чем-то важным пришел в такую рань, не иначе — ведь уже несколько месяцев,

как говорится, и тени его в их дворе не было видно. Обижен, очень обижен был дядя, сердился на Самада и даже, если сталкивался на улице с ним лицом к лицу, угрюмо отворачивался и, не отвечая на приветствие, спешил пройти мимо. «Чтоб лицо засохло у такого сына, как ты, племянник! Опозорил нас! На весь наш род тень бросил», — так сказал он Самаду в день похорон отца, сказал, как плюнул; видно было, что в злобе места себе не находил.

Умывшись, Самад перекинул полотенце через ветку карагача и направился к айвану¹, где на шелковой курпаче², скрестив ноги, непременно восседал его дядя Камол. Подойдя, Самад пожал протянутую ему руку двумя руками, — это было знаком уважения к старшему.

— Что так долго не заглядывал к нам, дядя?

— Суета жизни, племянник, сам понимаешь, — объяснил Камол, отведя в сторону взгляд беспокойных глаз.

Неслышно подошла мать Самада, разостлала скатерть — достархан, поставила две глубокие чашки ширчая³.

— Угощайтесь, Камолджон, пока не остыло. А я пойду выгоню корову в стадо. — Она отправилась к воротам, на ходу засучивая широкие рукава своего платья.

Не успели дядя и племянник выпить по чашке ширчая, как из дома на айван один за другим высыпали проснувшиеся братишки и сестренки Самада. Поздоровавшись со старшими, они разбрелись по двору, ожидая возвращения матери. Лишь самый маленький, Хосров, потер кулачком заспанные глаза, подошел к Самаду и опустился рядом с ним на курпачу.

© «Дружба народов», 1976 г.

¹ Глиняное возвышение,

¹ Терраса, веранда, навес.

² Узкое стеганое одеяло.

³ Чай, заваренный с молоком,

— Ака! книжки, тетрадки и карандаши, которые вы обещали... потом... как это... да, сумка где?

— Вчера времени не было, не смог купить, сегодня принесу обязательно, — ответил Самад и ласково погладил малыша по голове. — Тебе уже стричься пора...

— Ну вот, что мне теперь делать? Который день обещаешь! Сегодня, сегодня... — упрекнул брата Хосров.

— Ты ведь умный мальчик, Хосров, и большой уже. Не обижайся. Я же сказал: привезу! Сегодня вечером... И школьную форму тоже, хорошо? Ну, иди умойся.

— Ладно... — Хосров обиженно шмыгнул носом. — Но если и сегодня не привезете, совсем не пойду в школу, учиться не буду! — С этими словами он встал из-за достархана и побрел в дом за полотенцем.

«Да, нехорошо получается. Сегодня нужно постараться купить. Ребенка обманывать нельзя», — подумал Самад и внимательно посмотрел на дядю: слышит ли?

Однако было ясно, что Камол не обратил внимания на разговор племянников. Спокойно и неторопливо опустошил он свою чашку, оставил ее в сторону и, запустив два пальца в нагрудный карман кителя, начал свое:

— Принес я тебе, племянник, бумагу от директора.

— Какую бумагу?

— Ну, вроде документ. Шоферы нынче такие пошли: пока бумагу от хозяина не принесешь, на слово не верят.

Самад принял из рук дяди сложенный вчетверо листок бумаги, развернул и прочитал: «Самад, быстро сделай дело Камол-ака, а потом езжай на перевозку зерна. Обидов». Сунув записку в карман, Самад нащупал там еще одну такую же, вчерашнюю. Да, почти каждый день кто-нибудь приносит ему от директора подобную записку. Одному нужна солома, другому дрова, третьему шифер. Где бы ни встретили его, показывают директорскую записку, бесцеремонно усаживаются в кабину и скорее умрут, чем вылезут, пока не привезешь, что просят... Вот так и вчера получилось. Только он собрался вечером после работы в райцентр за портфелем и книжками для Хосрова, как вдруг встал на его пути Амон-щипач и протянул ему бумажку от директора. Сколько ни повторял Самад: «Сейчас у меня нет времени, дядя. Завтра привезу», — тот твердил свое: «Заведи машину, сынок; давай теперь же поедем и привезем. Я старик, кто знает, доживу до завтра или нет».

¹ Брат, уважительное обращение к старшему по возрасту.

Так и не отстал старый, пока не поехали в Арзанак. А там пока привез с поля его солому, пока выгрузили ее, время перевалило за полночь...

— Что задумался, племянник? Сам директор написал, не подделка, — сказал Камол, усмехаясь.

— Вижу, не подделка, — ответил Самад и, подвернув край достархана, спросил: — О каком вашем деле пишет директор?

— Две машины камня... Нужно перевезти его ко мне домой.

— Откуда?

— Из Камондары.

— Что ж это за камень, который нужно везти из такой дали? Ведь вокруг кишлага полно камня.

— Камондаринский камень, племянник, хорошо подходит для фундамента. Вчера сам побывал там, отобрал что получше, сложил в кучу рядом с дорогой. Поедем, погрузим и быстро возвратимся. Всего и дела...

— Ну что ж... — Самад поднялся, — пригоню машину.

По пути в гараж Самад увидел вчерашнего своего учителя, Амона-щипача. Тот сидел на скамеечке возле магазина, закрытого еще в такую рань, наслаждался бездельем и то и дело сплевывал себе под ноги.

— Куда путь держишь, Самад? — окликнул он.

Лицо у этого крепкого еще старика пенсионера было круглое, глаза тоже круглые зеленые, брови черные и густые. И летом, и зимой на голове его красовалась марлевая чалма. И была у него привычка: постоянно по одному выдергивал волоски из своей жиденькой бородки и, пожевав их кончики, сплевывал на землю. Из-за этого и прозвали его Амон-щипачом.

«Целые дни просиживает в чайхане или здесь, на скамеечке у магазина, и болтает обо всем, что видят и чего не видят его глаза, с такими же, как и сам, бездельниками, — подумал Самад. — И откуда он столько слов находит! Меня вчера на ночь глядя за соломой погнал, мол, вдруг до утра не доживет!..»

— Куда путь держишь? — повторил Амон-щипач.

— В гараж иду, дядя.

— Ты вчера, — сказал старик и, ухватив ногтями волосок на подбородке, вырвал его, пожевал и выплюнул, — ты вчера слишком уж торопил меня — та солома, что мы с тобой привезли, плохой оказалась.

— Как это — плохой?

— Почти одни стебли, да и колючек много. Мякины и мешка не наберется.

— Из-под комбайна всегда такая солома, дядя.

— Знаю, знаю, да ведь внизу под каждой кучей соломы есть немного и мякины. Не дал ты мне вчера времени, чтобы спокойно отобрать.

— Но ведь там же был бригадир, дядя. Он не позволил бы вам, сказал бы, берите подряд с одного края.

— Э-э, — Амон-щипач с досадой махнул рукой, — уговорить бригадира — это была бы моя забота. Ты, ты не дал мне времени!.. Жаль, ах жаль — деньги мои пропали зря!

— Но если вы отберете себе лучшее, кому нужно будет плохое?

— спрашивает, кому, а? О аллах! Да плохую солому съест зимой совхозный скот, не сдохнет!

— Так если не сдохнет совхозный, не сдохнет, наверно, и ваш? — Самад улыбнулся.

— Ладно, хватит, ишь молодые пошли, сразу ответ находят! Мой скот, а!.. Пропали, пропали зря мои деньги! А еще умолял директора, сдал деньги в совхозную кассу, вместо них чек взял... И что получилось!.. Жаль, зря пропали мои деньги! — заключил Амон-щипач и, отвернувшись от Самада, еще раз плюнул себе под ноги и раздраженно погладил свой седой подбородок.

2

Через несколько минут Самад вывел машину из гаража, подъехал к своему дому и достиг дяде. Камол вышел на улицу, следом за ним выбежал со двора и Хосров. Устроившись в кабине, Камол захлопнул перед носом мальчика дверцу и кивнул Самаду: мол, все в порядке, можешь трогать.

Хосров обежал машину, поднялся на подножку поближе к Самаду и напомнил:

— Ака, сегодня принесете, да? — Черные, как две виноградинки, глаза мальчика смотрели с надеждой.

— Принесу, обещаю, а пока беги домой!..

Самад осторожно вел машину по извилистой, покрытой гравием дороге, протянувшейся от кишлака к центральной усадьбе совхоза, а потом уводившей еще дальше, в райцентр. Камол поглядывал на проплывавшие мимо глинобитные стены и двустворчатые ворота — большинство было раскрашено в яркие цвета в соответствии со вкусом хозяев, — на высокие, на каменном фундаменте дома, на шиферные крыши и довольно тербил свой рыжий ус.

Кишлак остался позади, потянулась пыльная и разбегенная дорога через степь Арзанака. Степь упиралась в грядку невысоких темных холмов, а ближе там и сям виднелись

в легкой утренней дымке работавшие комбайны.

— Что я хочу сказать, племянник... Хорошие времена настали. Мирно, все дешево, всего в изобилии. Короче, все живут себе спокойно, конечно, у кого голова на плечах...

— Согласен, если работать хорошо, можно, как в старину говорили, в цветах ходить и нектар пить.

— Э, пустое! Можно и не работая нектар пить. В наше время главное, чтобы все ходы-выходы знать — только так дела делаются!

— Вы хотите сказать, главное — из одной копейки делать две, хотя бы и топором по лезвию? ¹ Правда? — Самад иронически улыбнулся.

— Конечно, племянник, конечно, — подтвердил Камол, не заметив насмешки Самада; говорил, не оборачиваясь к племяннику, рассеянно оглядывал степь. — Ты посмотри, что за дома мы проехали, — большим пальцем он ткнул назад, в сторону кишлака, — что за дома, дух захватывает! В наши дни каждый молодой человек, уважающий себя, прежде всего строит достойный внимания людей дом, а потом, если позволяют возможности, думает и о собственной машине. Да... На одну голую зарплату сделать все это нелегко, конечно. Постройка дома, проклятая, все дорожает! Строить труднее стало, чем приобрести машину. Лес дефицит, о шифере уж не говорю, за один лист три рубля выклады-ваешь, если с рук, конечно...

— Что ж, когда множество людей разом строят дома, само собой, лес и шифер станут дефицитом... Вообще-то стройматериалов хватает — дома-то растут! Дефицитным шифер делают спекулянты. Не хотят, чтобы у людей глаза насытились. Да мы и сами виноваты. Вместо того чтобы осадить таких, идем к ним с поклоном, просим, умоляем, чтобы помогли. Так нам и нужно!

— Правду говоришь, племянник. Недели не прошло, купил я у Хайдара полторы сотни листов шифера за четыреста пятьдесят рублей. И еще столько же нужно. Ты не знаешь случайно, кто еще, кроме Хайдара, шифер продать может?

— Зачем вам столько?

— Есть у меня намерение на будущий год дом поприличнее поставить... Не знаешь, у кого есть шифер?

— Вы же год назад построили дом...

— Тот дом для нас самих. А этот, даст бог, назначим для старшего сына... Так не знаешь, у кого есть шифер?

¹ То есть любым, даже и недозволенным способом.

— Не знаю, — ответил Самад и сдвинул кепку на затылок. — Как я понимаю, сейчас за камнем для фундамента едем?

— Правда, правда, племянник! Если аллах позволит и здоровье не подведет, сам посмотришь, на будущий год такой дом поставлю! Такой, чтобы, глядя на него, друг порадовался, а недруг ослеп!

— Если честно говорить, дядя, удивляюсь я делам некоторых людей. Ребятишки их босиком бегают, а они только тем и озабочены, как бы новые хоромы возвести. Хоть и есть уже у них дом, друг перед другом стараются, ставят еще один, а то и два новых, отрывая копейку от еды. Чем я хуже других, говорят, подтягивают пояса и строят дома, не думая, нужны они или нет. Кому и какая польза от этих пустых комнат?

— На кого ты намекаешь?

Самаду очень хотелось сказать дяде: зачем, мол, ему беспокоиться о доме для сына, мальчишка ведь только шестой класс закончил. Разве ему сейчас нужен собственный дом? Чем тратиться на стройку, купил бы лучше он старшему сыну, да и другим своим детям хотя бы одежду приличную. У них ведь не то что стола, где готовить уроки, учебников-то нужных нет, и вряд ли чаще, чем раз в два месяца, отправляет он их в баню. Глядишь на них, жалость берет...

Но всего этого Самад дяде не сказал. В его ли годы учить старших...

— Ну говори, говори, племянник! На кого ты намекаешь, — нервничая, торопил Камол.

Самад усмехнулся.

— Я не о вас, дядя, не принимайте мои слова в свой адрес.

— Никогда, видать, не перестанешь язвить, — упрекнул племянника Камол. — Откуда взял, что примеряю к себе твои слова? Просто хотел узнать, что за люди, о ком ты говоришь, кого имеешь в виду.

— Например, Хайдар.

— Э-э, нашёл о ком вспоминать! Если б ты, мой племянник, мог сравниться с Хайдаром, я, твой дядя, высоко подбросил бы свою тубейку!

— Я не собираюсь равняться с ним...

— Такой мужчина, как Хайдар... Да во всей нашей округе едва ли найдутся трое таких, как он! Почти неграмотный, даже машины совхозной, как у тебя, у него нет. Вся его работа, вся должность — птичник на совхозной ферме, как и я. Но посмотри, какие проворачивает дела! Всю землю готов взять в руки! Ступишь к нему на порог, увидишь убранство комнат — забудешь рот закрыть. Это счастливый человек,

племянник, не говори о нем неуважительно, неприлично это.

— Что счастливый, знаю, — ответил Самад. — Имеет десять комнат, а с семьей ютится в одной-единственной. Не дай бог, говорит, ковры истопчут — и все комнаты на замке держит. Ему ведь еще и сорока нет, а посмотрите: ни одного зуба не осталось, вечно в старье ходит, будто нищий, а жена и дети и того хуже.

— Что тебе за дело до его зубов?

— Это вы правду говорите, мне-то что! Бедняга, если вставит зубы, истратит деньги, которых хватило бы на пять балок для потолка. К чему ему зубы, коли у него два дома!

— Его дело, племянник. Ты же не свяжешь ему руки. Хоть и без зубов, да с деньгами, значит, уважают его люди больше, чем тебя, который с зубами.

— Это смотря какие люди...

— Позавчера он купил в одном месте сорок жердей, — не слушая, перебил племянника Камол, — навес, оказывается, хочет ставить. Да принесет этот навес радость своему хозяину! А ты пять лет работаешь водителем, шифером свой дом покрыть не можешь до сих пор...

— Ну, во-первых, у меня не было на это денег, во-вторых, к чему лишние расходы? Совхоз строит новые современные дома, через год-два, думаю, подойдет и моя очередь.

— Совхозный дом, что ни говори, дом не твой — государственный. Собственный дом совсем другое дело. Эх!.. Не хозяин ты, племянник! Откуда тебе знать цену дому? Завтра люди не спросят у Хайдара или, скажем, у меня, была ли в свое время обувь у наших детей. Завтра люди спросят, есть ли у тебя деньги, был ли большой туй¹ в честь обрезания сына, справил ли сыну свадьбу, поставил ли ты для него дом, достойно ли выдал замуж дочь, с почестями ли похоронил родителей? Вот что спросят люди завтра. Ты еще молод, не понимаешь, да-ром гоняешь туда-сюда государственную машину, других и забот нет, а когда тяготы жизни падут тебе на голову, когда будешь иметь своих детей, тогда поймешь, как жизнь хватает человека за горло.

— Вы же знаете, дома у меня шесть едков, а работаю я один...

— Верно, тебе тоже нелегко. Но самый тяжелый груз, когда своей семьей обзаведешься. Хочу сказать: если человек беспокоится о завтрашнем дне, вреда от этого ему не будет. Кто знает, какие дни придут на нашу голову. Вот потому-то тебе и надо собрать свой ум в кулак и думать о постройке собственного дома, а не

¹ Праздничное угощение, пир.

надеяться на государственный. Племянники подрастают, да и ты, я думаю, не будешь всю жизнь неженатым ходить.

— Не беспокойтесь, дядя, для меня сейчас главное, чтобы мама и все ребятишки здоровы были.

— Говорит, не беспокойтесь, а? Нет, ты подумай хорошенько! Ваш дом перед теперешними — срам. В год, когда покойный зять, твой отец, выстроил его, у меня еще и усы не пробивались, а тебя и вовсе на свете не было.

— По мне лучше жить в старом доме, чем строить новый, вырывая кусок изо рта ваших племянников... Не будем больше спорить об этом.

— Тебя трудно научить хоть чему-нибудь.

— Но разве я не прав?

— Э-э, кончай! Хватит, почти год в раз-молвке были...

Насупившись, Камол отвернулся.

Самад тоже не хотел спорить. Сидел за рулем молча, сжав губы. Только скорость увеличил. Горный кряж Камондары, открывшийся впереди за цепью низких желтоватых холмов, постепенно приближался. Перед холмами, там, где была уже убрана пшеница, паслось стадо. Через открытое окно в кабину залетал прохладный утренний ветерок, приносил влажный запах реки. Под монотонный гул мотора Самад думал о своем разговоре с дядей и о том, что у дяди все же странный характер: вечно старается выделиться, отличиться перед людьми, зачем-то ему нужно, чтобы имя его поминали в кишлаке постоянно. Ради известности, ради уважения себе подобных любил он поразить округу. Иначе разве раздал бы людям в день похорон своего отца и такой йиртыш¹, и еще по три рубля денег? И ведь потратился не потому, что хотел с честью проводить покойного, нет, ради того, чтобы люди зауважали его, Камола. И сейчас, после того как он завоевал-таки уважение, давать сверх йиртыша еще и деньги сделалось чуть ли не правилом в кишлаке... Правда, не для всех, для тех, кто пьян от денег, кому это ничего не стоит... Не моргнув глазом, вытащат из кармана тысячи и раздадут у могилы своих родителей и старым и малым. В прошлом году один из таких уважаемых людей в день похорон жены раздал толпе в тысячу человек йиртыш из бархата и по пять рублей денег. Раздать по метру сатина и к нему по три рубля посчитал ниже своего достоинства, потому что хотел получить уважения больше, чем его, Самада, дядя. И вот некоторые люди, не стыдясь, бегут за покойником и тащат за собою всех своих сы-

¹ Обычай раздавать в память о покойном куски материи участникам похоронной процессии,

новой, даже таких, которые едва научились ходить. Разве покойника провожать бегут? За деньгами бегут, за йиртышом... Тот же Хайдар — ведь никогда от похоронной процессии не отстанет. Кто бы и где бы ни умер, он тут как тут со своими четверьями сыновьями-школьниками. Да и сам дядя не отстанет, не упустит своего. А хуже всего то, что даже и те люди, у кого нет больших денег, тоже ведь хотят, чтобы их уважали. «Чем мы хуже других?» — говорят они и влезают в долги... Прямо состязание идет, страшное состязание. Почему никто не отменит этот обычай?..

...Камол молчал весь остальной путь, до самой Камондары. Лишь когда подъехали к реке, к двум большим кучам камня у обочины, которые не вывезти было и за десять рейсов, буркнул:

— Приехали, — и, открыв дверцу, спрыгнул на дорогу.

Самад заглушил мотор и сказал дяде через окошко:

— Опустите борт.

Камол что-то пробурчал в ответ, но Самад уже не слушал его, достал книгу и, отыскивая нужную страницу, глянул мельком в сторону степи — над ней всплывал красный диск солнца, очень большой над невысокими холмами.

Сзади за кабиной что-то с грохотом упало, машина вся содрогнулась. Самад тоже вздрогнул. Не успел он открыть дверцу, грохот повторился — это Камол бросал в кузов камни.

— Осторожней, дядя!

— Хорошо...

В кузов бухали камни, каждый килограммов в двадцать, и, хотя машина не вздрагивала уже, как в первый раз, Самад не мог сосредоточиться и вникнуть в смысл того, что читал. Кое-как одолев несколько страниц, он спрятал книгу, вылез из кабины и сел на валун в сторонке. Вытащил из кармана пачку «Памира», спички и закурил.

Меж тем кузов заполнился уже почти наполовину. Камол поднял и бросил туда еще один тяжеленный камень, отряхнул ладони, подошел к Самаду и уселся рядом с ним. Дышал он тяжело, на низком лбу блестели капли пота.

— Уф-ф!.. Притомился, а ты и не можешь...

Самад, не привыкший отдыхать, когда другие работают, хоть и дал себе в пути слово ничем не помогать дяде, смутился.

— Теперь моя очередь, — вырвалось у него.

— Дай сигарету.

— Вы ведь не курили, — удивился Самад и протянул пачку.

Камол задымил и, не глядя на племянника, сказал задумчиво:

— Давно хочу напомнить тебе...

— Слушаю, дядя...

— Скоро придется справлять годовщину твоего отца. Если не устроим это дело так, чтобы люди спасибо сказали, некрасиво тогда получится. Нужно выложить хотя бы тысячу рублей.

— Откуда же у меня столько денег?

— Если у тебя мало, я дам. Уйдут вещи и деньги — пусть уходят, лишь бы уважение не ушло. Сколько тебе нужно?

— Ничего.

— О аллах, поражаюсь рабам твоим! — В знак удивления Камол взял за ворот своей рубахи. — Только что сам сказал: нет денег, а теперь...

— Вспомните, дядя, в день похорон отца я сказал вам: все положенное буду делать на свои деньги, а зарабатывать уважение, влезая в долги, не собираюсь. Прошу вас, не вмешайтесь в мои дела. Если и буду посрамлен, так я, а не вы.

— Да ты уже, уже посрамлен, слепец! И что вы с матерью за люди, никак не пойму! Будто нет никого умнее вас! Подумай сам, если справишь поминки как следует, как положено, закроются рты у людей! Как же иначе и когда смоешь это пятно?

— Какое пятно? — спросил Самад и, бросив окурок, раздавил его каблуком. — Какое пятно?!

— Не знаешь?

— Не знаю!

— Когда я предупредил тебя — раздай каждому хоть по два рубля, — ты, забыв мои слова, как похоронил своего отца? Что ты раздал людям, кроме двухсот метров сатина? И это называется йиртыш, да?

— Замолчите! — Самад вскочил на ноги.

— Нет, бесстыдник, если называешь меня дядей, так слушай, что я говорю! — Камол тоже поднялся. — Из-за тебя год уже глаз на людей не могу поднять!

— Это меня не касается! От такого дяди, как вы, я...

— Что?! Что ты сказал?!

— Сами слышали. Если понравилось, могу повторить.

— Эй, ты, уважай старших, я над тобой вместо отца! Завтра, не дай бог, завязнешь ногой в грязи, меня позовешь, я буду нужен, не другой!

Самад в бешенстве махнул рукой, как бы напрочь отстраняя дядю и все с ним связанное, подбежал к машине, ловко вспрыгнул в кузов и с яростью швырнул оттуда на землю первый попавшийся под руку камень.

Камол, не ожидавший такого поворота, встревожился.

— Что ты, что ты, с ума сошел? — Он подбежал к машине, хотел взобраться в кузов, помешать Самаду, остановить его.

Однако Самад, продолжая сбрасывать камни на землю, закричал вне себя:

— Не подходите!

— Эй, мальчишка! Что за глупости делаешь? Смотри, пожалеешь! Знай, до полудня машина в моем распоряжении! Скажу директору, он набьет твою шкуру соломой! — Камол явно пытался запугать племянника, однако Самад уже не слушал его: сбросил оставшиеся камни, спрыгнул на землю, поднял борт, сел в кабину и включил зажигание.

Камол вскочил на подножку.

— Неужели ты обиделся на мои слова, племянник? Ведь я же тебе не враг! Изгони из себя шайтана. Нехорошо это... Ну хочешь, я возьму свои слова обратно?

— Я уже не ребенок, дядя! Слезайте! Идите и жалуйтесь кому хотите. Пусть директор выгоняет меня с работы, если сможет.

Камол понял, что уговорить племянника не удастся.

— Ладно, возьми хоть меня с собой, не бросай здесь...

— Нет, — твердо отказал Самад, — пойдете пешком, вам полезно. Жирок немного подрастаете.

— Ты, достойный смерти, весь, весь в отца пошел! Тоже, как ты, был подлым и бешеным! — Камол в ярости спрыгнул на землю.

У Самада от злости и обиды тряслись руки, державшие руль. Гнал он машину как сумасшедший до самого жнивья, пыль за ним поднялась до небес. В ушах звенели слова дяди. «Чтоб лицо засохло у такого сына, как ты, племянник! Опозорил нас! На весь наш род тень бросил», — так сказал он Самаду в день похорон отца. «Ты, достойный смерти, весь в отца пошел! Тоже, как ты, был подлым и бешеным!» — сказал он сегодня...

3

В кабине было жарко. Самад сбавил скорость, расстегнул ворот рубахи, снял кепку, бросил рядом на сиденье. Достал сигарету, несколько раз затянулся, но, видно, оттого, что с утра ничего не ел, его мучило: поморщившись, он выбросил сигарету на дорогу. Чем больше старался он успокоить себя, подавить в себе чувство обиды, тем хуже становилось у него на душе.

Сделав до полудня из Арзанака шесть рейсов с зерном, Самад отпросился на часок у бригадира и поехал в райцентр за портфелем и

книжками для Хосрова; однако там ему не повезло. И сейчас, расстроенный, он возвращался в степь Арзанак, туда, где работали комбайны. «Постарайся вернуться поскорее, машин очень мало», — такими словами проводил его бригадир Саид.

Когда Самад проезжал по безлюдной в полуденную жару улице родного кишлака, навстречу выскочил из-за поворота директорский «газик», остановился, шофер помахал Самаду рукой и снял темные очки, видно, хотел что-то сказать.

— Откуда? — спросил Самад.

— Тебя ищу! — Нодир лучезарно улыбнулся.

«Удивительный парень. Вечно радуется чему-то», — подумал Самад.

— А я в район ездил.

— Знаю, бригадир сказал. Что такой хмурый?

— Дело не выгорело...

— Ты что, и вправду из района?

— Думаешь, обманом хочу отобрать твои старые штаны?

— Ладно, не сердись, я так просто спросил. — Нодир хохотнул. — Так что за дела были у тебя в районе?

— Хосров в этом году в первый класс идет. Обещал ему купить книжки, портфель...

— Вах! И всего-то? — Нодир снова засмеялся. — А я-то думал, где-нибудь сотня-другая к тебе в карман попросилась, а ты...

— Чего смеешься? Через три дня занятия начинаются, а у мальчишки и букваря нет. Приезжаю в район, магазин закрыт, ревизия. Заведующая говорит, через десять дней приходи. Упрашивал, умолял ее, она только разозлилась: какая, говорит, дура во время ревизии тебе товар продаст... Совсем у меня настроение испортилось.

— Ладно, не огорчайся, друг. Время еще есть, что-нибудь придумаешь.

— Когда придумывать-то? С утра до вечера на перевозке зерна, даже голову почесать некогда. Удивительно, в совхозе две большие школы, а ни книг, ни портфеля не купишь!

— Ты прав. — Нодир бездумно улыбнулся. — А почему так, а?

— Это ты у своего хозяина спроси.

— Сам спросишь. Ждет не дожидается тебя. Посылал меня за тобой в Арзанак, мол, найди да привези...

— Не знаешь, что ему нужно?

— Я в Душанбе уезжаю, повезу его жену с детьми. Наверное, пока не вернусь, будет ездить с тобой.

— В Душанбе? Может, там и купишь для меня?..

— Верно! Забери аллах мою голову, до сих пор не сообразил, а! Что купить-то?

— Портфель, учебники для первого класса. Букварь там, книга для чтения, да продавец скажет... Остальное есть и в нашем магазине.

— Понятно. Можешь не беспокоиться.

— Когда вернешься?

— Завтра вечером. Из Душанбе прибыла женщина, вроде почвовед. Заберу ее и снова в город. Красивая... — Нодир лукаво подмигнул Самаду. — Хозяин говорит, возвращайся поскорей, повезешь ее в Душанбе, мол, женщина все-таки, уважение оказать надо... Так что разворачивай свою телегу, поехали.

— Погоди, возьми деньги.

— А, привезу, потом рассчитаемся. Поехали скорей.

— Слушай, Нодир, я заверну домой, перекушу хоть что-нибудь. И сразу в контору.

— Дело твое, но не задерживайся, чтоб хозяин пешим не остался. А я поехал...

4

В приемной Самада встретила Шодигуль. Увидев его, поднялась, оправила короткое платье из ханатласа, вышла из-за своего столика навстречу.

— Добро пожаловать! — и покраснела, отвела взгляд в сторону.

Самад кивком указал на стулья у стены, где должны были ожидать директора посетители, спросил шутливо:

— Можно присесть?

— Пожалуйста, прошу... — Шодигуль улыбнулась, показав плотный ряд перламутровых зубов.

Самад сел, посмотрел на девушку, помолчал, потом объяснил:

— Директор меня вызывал. Скажите, что я здесь...

— Сейчас... — Шодигуль вошла в кабинет Обидова и сразу вернулась: — Велел, чтобы не уходили далеко от конторы. — Она улыбалась и не поднимала глаз.

— Ладно, так и быть, — засмеялся Самад. — Значит, не отходить далеко от вас?

— Не от меня — от конторы, — лукаво поправила девушка. — Чай будете пить?

Налила из красного чайника, стоявшего у нее на столике, в пиалу, подала Самаду.

Некоторое время оба молчали.

— Шодигуль! — сказал Самад и поставил пиалу на столик.

— Да?

— Скоро месяц, как не видел вас...

— ...
— Только во сне и встречаю вас. Соскучился.
— ...
— Почему вы перестали приходить в наш дом?
— Стесняюсь вашей мамы...
— Почему?
— Не знаю... после тех ваших слов...
— Уже недолго...
— Что недолго? — словно не поняв, спросила Шодигуль.
— Скоро минет год, как похоронили отца... и сразу сваты пойдут к вам.

— ...
— Согласны ли будут ваши родители?
— ...
— ?..
— Так я же сказала: если я... конечно, куда они денутся, согласятся... — Шодигуль покраснела и заговорила о другом: — Вы и сами не заглядываете сюда. Почему?

В это время в приемную вошел комбайнер Нормурод, приятель Самада, а с ним еще один рабочий. Следом за ними появился Камол.

— Ты что тут высидиваешь? — протягивая Самаду огрубевшую, потемневшую от масла руку, спросил Нормурод.

— Прибыл в распоряжение директора.

— Обидов у себя? — спросил Камол у Шодигуль.

— Да.

Камол злобно глянул на Самада и скрылся в директорском кабинете.

— Так у него же персональная машина. — Бас Нормуроода заполнил приемную. Он глянул на спутника, покачал головой, как бы говоря: видишь, какие дела. Тот махнул рукой, вынул из кармана запыленных брюк табакерку, невзмутимо высыпал из нее на ладонь немного жевательного табака — наса и отправил под язык.

— А ты зачем к директору? — спросил Нормуроода Самад.

— Машин на поле не хватает. — Нормурод стиснул в кулаке промасленную кепку. — Час косим, два часа ждем машину...

— Да, и в нашей бригаде то же самое.

— Что ж ты тогда здесь сидишь?

— Была б моя воля... — Самад жестом указал на дверь в кабинет Обидова.

— То-то и оно, все мы так...

Вернувшись во двор, Самад поднялся в кабинету и, не закрывая дверцы, достал книгу, перелистал, нашел нужное место и стал читать. Однако через несколько минут подошла Шодигуль.

— Вас директор зовет.

С книгой в руках Самад вошел в кабинет, поздоровался. Обидов едва кивнул в ответ и, указывая на Камолу, сидевшего в мягком кресле возле окна, спросил с упреком:

— Этот человек приходится тебе дядей, так?

— Да.

— А раз так, что за глупости себе позволяешь?! — привычно повысил голос Обидов.

— Сделал я глупость или нет, вы не видели, товарищ Обидов. А почему поступил именно так, он знает. — Самад посмотрел в сторону Камолу.

— Говорил же я, говорил, этот невоспитанный ни младшего не уважает как младшего, ни старшего как старшего, разницы не понимает, — вмешался Камол. — Дали бы вы мне записку к другому шоферу, как говорится, весь мир стал бы цветником.

— Не беспокойтесь, он сам привезет вам столько камня, сколько нужно. И пусть только попробует сказать «нет»! Сегодня вторник, так?

— Так, так! — подтвердил Камол.

— Моя машина ушла в Душанбе. Два дня он, — кивком головы директор указал на Самада, — будет возить меня. А в пятницу с самого утра и до полудня в вашем распоряжении. — Обидов посмотрел на Самада и постучал тупым концом карандаша по настольному стеклу. — Понял?

— Понял. Но с этим человеком я никуда не поеду.

— Поедешь!

— Не поеду.

— Поедешь как миленький! Пока еще я здесь хозяин! — Обидов стукнул кулаком по столу. Телефон подскочил, карандашница опрокинулась, карандаши покатались по полу.

— Не поеду, — спокойно повторил Самад.

— Выйди отсюда! В пятницу посмотрим, как ты не поедешь!

Самад молча повернулся и вышел из кабинета.

Шодигуль, увидев его расстроенное лицо, спросила с беспокойством:

— Что случилось?

— Ничего. — Самад махнул рукой и, не ответив на вопросительный взгляд Нормуроода, отправился к машине.

Он все еще сидел в кабине, когда из конторы вышел Нормурод со своим спутником.

— Ничего у нас с ним не получится, выше надо обращаться... — услышал Самад. Обозленные и решительные, комбайнеры укатили куда-то на мотоцикле.

Подошла Шодигуль.

— Директор велел, чтобы вы ехали на птицеферму. Хайдар должен что-то передать вам, а вы отвезете и отдадите заведующему гостиницей.

— Ладно... — Самад взглянул на часы. — Четыре... Вы в шесть закончите, да?

— Да, — ответила Шодигуль и, поняв смысл вопроса, улыбнулась. — Только директор велел вам поскорей возвращаться.

— Если работы у вас сейчас немного, садитесь, вместе съездим, — предложил Самад и включил зажигание.

— Люди упрекать станут.

— Что вам за дело до людей? Лишь бы я не упрекал...

Шодигуль рассмеялась, потом взглядом показала в сторону бухгалтерии, где в окне появились уже любопытствующие лица и, притворно нахмурившись, сказала:

— Вот, смотрите, уже шепчутся.

Самад глянул на окно, покачал головой и спустился из кабины на землю.

— Не хмурьтесь, Шодигуль, это вам не к лицу.

— Смотрят ведь. Разве можно мне долго быть рядом с вами, — она кокетливо поправила волосы.

— Подождите, я хотел спросить... — нерешительно начал Самад. — Мне нужно знать... Допустим, родители ваши согласятся... а потом, думаю, что?

— Как что?

— Ну... я имею в виду калым...

Шодигуль нахмурилась уже всерьез.

— Я же не товар.

— Не обижайтесь... калым ведь не я выдумал... хочу сказать, да вы и сами знаете, денег у меня немного. Только что на свадьбу...

Девушка вдруг улыбнулась так, что Самад ментально позабыл все свои неприятности.

— Не думайте об этом, я сама постараюсь все уладить, — и она убежала в контору.

5

Во дворе птицефермы, полном одинаковых белых кур, в углу под навесом на грязном матрасе полулежал Хайдар и потягивал из пилалы чай. Рядом, растянувшись на другом матрасе, похрапывал Камол.

— Директор послал, говоришь, да? Если так, сейчас, сейчас вот... — Хайдар зевнул. — Как только твой дядя пришел и сказал, я тут же и приготовил.

Он не спеша, с наслаждением допил чай и налил себе еще.

Самад присел на краешек матраса и стал ждать, а Хайдар испытующе поглядывал на него. Это был мужчина средних лет, сухоощавый, с продолговатым лошадиным лицом. Руки у него были непропорционально длинные, шея худая и тоже какая-то чересчур вытянутая. Лишь ноги короткие — может, поэтому и не любил вставать с матраса?

— Сейчас вот, братец, сейчас, — повторил Хайдар, вытер рукавом рубахи пот с лица, поднялся наконец и мелкими шажками направился через птичий двор к низенькому строению на другой его стороне.

Самад улыбнулся, видя, как Хайдар вперевалку, по-утиному, ковыляет среди кур. «Была бы у нас утиная ферма, а Хайдара туда заведующим, там бы он лучше подошел...»

В это время одна из кур, убежав от драчливого петуха, квохча, промчалась рядом с Самадом и задела Камолу, который продолжал храпеть, раздувая свои рыжие усы.

— Чтоб ты без мужа осталась, и подремать-то не даст, а?! — подняв голову, выругался Камол, однако, увидев рядом Самада, отвернулся и сел на матрасе, подобрав ноги, потянулся к чайнику.

Хайдар возвращался уже к навесу, неторопливо прокладывая себе дорогу среди многочисленных кур, протянул Самаду завязанный мешок, кашлянул со значением.

— Вот, братец, и на две больше, чем велели. На всякий случай... Ну, чтобы вдруг мало не было, как... — Он не стал объяснять дальше и обратился к Камолу: — Вставайте, друг, пора, надо из амбара немного корма для кур вынести.

Камол сладко потянулся и неохотно поднялся с матраса.

Самад попрощался и вернулся к машине; на бортах и на кабине расселись куры, все одинаково белые, взмахивали крыльями, суетились, перелетали, менялись местами, да, очень много их здесь было, не сосчитать.

Приковылял Хайдар.

— Послушай, братец, у меня два мешка груза... не забросишь по пути ко мне домой?

— Это что, корм для кур?

— Какая тебе разница? — Хайдар скривил свой беззубый рот, недовольный бестактностью Самада, затем оглянулся на Камолу и спросил: — Так вынести?

— Нет.

— Не откажи, братец, разве тебе тяжело, повезет-то машина.

— Не могу, у меня дела, — ответил Самад и поднялся в кабину.

— Зачем вы его просите? Да станет он жертвой слов ваших! — услышал он голос дяди.

— Знал бы, что откажет, умер бы, не попросил!

— Э-э! Вы у меня, у меня спросите, друг, кто он такой! Хоть и племянником приходится, да хуже осла! Если рассказать вам, как он сегодня издевался надо мной, вы не поверите.

— А мне-то казалось, смиренный парень. Ну и шайтан с ним! Когда-нибудь и у него ко мне будет дело...

Самад захлопнул дверцу кабины и, распушивая кур, вывел машину со двора фермы.

Вскоре он остановился у тенистого сада, окруженного высокой глинобитной стеной. Ворота были закрыты, но калиточка для пешеходов открыта. С мешком в руке Самад вошел в сад. Здесь было прохладно и тихо. От бетонной площадки у ворот в глубину к белому дому с большой застекленной верандой тянулась широкая аллея. Видно было, что ее недавно полили и чисто подмели, а виноградные лозы вдоль нее давали такую тень, что ни лучика солнца не пробивалось к земле. Недалеко от дорожки сад пересекал большой арык с чистой, прозрачной водой.

Направляясь к белому дому, Самад заметил возле арыка светловолосую женщину в легком платье; она сидела на курпаче, опустив красивые ноги в воду, и читала книгу. Рядом валялись лакированные красные туфельки.

Поднявшись по деревянным ступеням, Самад приоткрыл дверь веранды; пол был застлан дорогим ковром.

— Ато! Эй, Ато! — негромко позвал он, но ему не ответили.

Самад и раньше несколько раз бывал здесь и знал, что кухня и склад, а также и комнатка Ато находятся за этим домом, в глубине сада...

Ато резал на кухне морковь для плова. Увидев через окно Самада, положил нож на доску и вышел навстречу.

— Каким ветром, Самад? Здравствуй...

— Да вот, ребята о тебе беспокоятся, не похудел ли ты. Послали меня проведать.

— Хорошо тебе шутить! — обиделся Ато. — Ну да ладно, проходи...

Самад вошел вслед за приятелем на кухню, опустив мешок у стены.

— Что это? — спросил Ато, не особенно, кажется, удивляясь.

— Хайдар прислал. Думаю, что куры.

— Слава богу, я уж заждался. Женщина одна из Душанбе приехала, почвовед... Не видел, когда сюда шел? У воды сидит, отдыхает.

— Как не увидеть, видел... Слушай, ты же никогда в жизни не готовил, как это ты поваром заделался?

— Я думаю, если б ты с полгодика здесь поработал, тоже бы научился. — Ато поднял со стула таз с рисом, освободил место. — Садись, поговорим.

— Я сейчас на службе у твоего дяди, времени нет.

— Ничего, дядя подождет. Хочу сказать тебе...

Самад сел. Ато тоскливо посмотрел сквозь окно наружу, помолчал, затем повернулся к Самаду.

— Хочу сказать, друг, надоело мне готовить и мыть полы. Здесь не гостиница. Люди говорят: дача директора, и правильно говорят...

— Но ведь когда ты оставил машину и перешел сюда, ты, кажется, был доволен своим дядей.

— Ну и что с того? Сначала был доволен, а теперь вот... Я хочу уйти отсюда, это место, оказывается, не для меня.

— Ну?

— Думаю, примут ли меня ребята?

— Машинами твой дядя распоряжается, а не ребята.

— Я другое имею в виду... не прикидывайся, что не понимаешь.

— Слушай, Ато, ты ведь сам знаешь, когда ты не послушался нашего совета и ушел, понятно, всякие разговоры были... Конечно, ты работал хорошо. Уважали тебя...

— Сам виноват... Я уж давно решил уйти отсюда, да боюсь, ребята смеяться надо мной будут...

— Боишься?

— Ну, не боюсь, конечно... Но ведь в дураках оказался! Хочу обратно к ребятам проситься и стесняюсь.

— Своих друзей стесняешься, да? С каких пор ты в девушку превратился?

— Попал бы ты в мое положение! Если б директор не приходился мне дядей, тогда, конечно, другое дело...

— Если вправду хочешь уйти, надо уходить. Нет — дело твое. Ребят ты не хуже меня знаешь, если и будут смеяться, так разок-другой проедутся, а потом забудут. Ничего, переживешь.

Самад встал и вышел наружу, его ждал директор. Ато взял нож и вялыми движениями стал резать морковь.

Во дворе конторы Самад увидел Обидова, тот стоял в тени чинары и разговаривал с каким-то стариком. В руках у старика была бумага.

Увидев, что машина вернулась, Обидов направился к калитке. Старик некоторое время стоял неподвижно, потом поглядел на свою бумагу и поспешил за директором.

— Путь далекий у меня, сынок. Два раза уже приходил сюда, но тебя все не было. Да вознаградит тебя аллах, посмотри эту бумагу и подпиши.

— Сколько раз вам повторять, не могу я подписать вашу бумагу, пока не разберусь как следует! Может, вы думаете, это простое дело — уйти на пенсию? Сейчас я уезжаю, приходите завтра.

— Сынок, милый, не заставляй меня мучиться...

Обидов уже поднялся в кабину.

— Сегодня не могу, завтра, пожалуйста. Времени у вас достаточно теперь и осла персонального, оказывается, имеете, сядете на него и приедете. — Директор захлопнул дверцу кабины и обернулся к Самаду: — Поехали!

Старик, потеряв надежду, с опущенной головой побрел во двор конторы.

Самад подождал немного, не включая мотор, потом спросил:

— Куда ехать?

— Обожди-ка, — сказал вдруг Обидов. Он задумчиво поглядел вслед удалявшемуся старику, потом открыл дверцу кабины, вышел, догнал старика, взял у него бумагу, которую тот успел уже спрятать за пазуху, и направился в контору.

Вернулся он через несколько минут. Протянул старику бумагу, судя по тому, что тот обрадовался, подписанную. Затем снова поднялся в кабину, а старик легкой походкой заторопился к своему ослу, который, не зная забот хозяина, опустив уши, с безразличным видом обнюхивал что-то в пыли у себя под ногами.

— Надо уважать старших... — тоном задания объяснил директор Самаду. — А теперь наведаясь-ка я домой. — И, когда грузовик уже тронулся, спросил: — Хайдара нашел?

— Да... Говорит, положил на две больше, чем сказано. Отвез и отдал Ато.

— Хорошо... хорошо... — рассеянно похвалил Обидов. — Да, этот Хайдар предусмотрительный человек.

Вскоре Самад остановил машину у просторного директорского дома в тенистом и тихом переулке. Обидов молча вылез из кабины и неторопливо зашагал к себе во двор.

Самад ждал долго, но Обидов все не возвращался. В этот жаркий предвечерний час переулочек был пуст: высокие чинары защищали дворы, дома и дорогу от солнца. Самад посмотрел на часы. Скоро шесть, и Шодигуль пойдет

с работы домой. Значит, сегодня он уже не сможет увидеть ее.

Устроившись на сиденье поудобнее, Самад достал книгу. Время летело незаметно, и он успел уже перевернуть последнюю страницу, как вдруг резко открылась дверца кабины. Вздвигнув, Самад поднял голову и увидел директора. Вместо обычных галифе и кителя каштанового цвета на нем были сейчас белая нейлоновая рубашка и черные лавсановые брюки, на ногах вместо брезентовых сапог — черные модные туфли, на голове не фуражка, а фетровая шляпа. Глаза были слегка хмельные.

— Давно приехал? — спросил Обидов, устраиваясь на сиденье.

— Откуда? — удивился Самад.

— Разве я не говорил: езжай отдохни, понадобится через два часа?

Самад пожал плечами:

— Нет.

— Значит, хотел сказать да забыл... А я подремал немножко. Ладно, поехали... в гостиницу...

Заходящее солнце коснулось ближней вершины. Тени от домов и придорожных деревьев вытянулись и чуточку поблекли, словно ожидая, когда нежаркий уже диск солнца укатится за гору и они тоже смогут исчезнуть до завтрашнего утра.

Самад поглядывал на уходящее солнце. Странное чувство, похожее на грусть, вошло в его душу. Каждый раз, когда он видел, как исчезало солнце, на какое-то мгновение приходили печаль и растерянность, словно он терял что-то дорогое...

Когда подъехали к гостинице, Обидов легко соскочил с подножки на землю и, прежде чем захлопнуть дверцу, сказал:

— Я пришлю Ато, откроет тебе ворота. Машину поставь в саду, — и добавил мягче: — Сам не уходи далеко. Гостья у нас, можешь понадобиться?

...Сквозь стекло кабины Самад видел белое здание в глубине сада. На веранде уже зажгли свет. Плеск воды в арыке подчеркивал сладость тишины, напоминая о ласковой прохладе вечера. «Да, — подумал Самад, — гостиница... А если вместо женщины-почвоведки придет в командировку шофер вроде меня или рабочий, где ему ночевать?»

За окнами комнаты рядом с верандой тоже загорелся свет, и чьи-то руки поверх белых занавесок задернули оранжевые портьеры. Послышались звуки радио:

И солнце светило,
И радуга цвела,
Все было, все было,
И любовь была...

Самад устало откинул голову и закрыл глаза. Заснул он почти сразу. Ключи от машины выскользнули из огрубевших пальцев и тихонько звякнули об пол кабины.

Во сне Самад возвращался домой, а у ворот его встречал Хосров и показывал ему новенький желтый портфель, набитый книгами и тетрадами. Он виделся Самаду в золотистых бликах солнечных лучей, и Самад смеялся.

Он обнял брата и спросил, указывая на портфель:

- Кто принес тебе все это?
- Она вот... как ее... Шодигуль-апа¹.
- Кто тебя научил обманывать?
- Клянусь хлебом, она...

Потом возникла Шодигуль в белом шелковом платье, длинные смолисто-черные волосы, заплетенные в тонкие косички, рассыпались по спине и груди.

— А я вас ждала после работы, думала, вы придете...

Тут Самад почувствовал, что его трясут за плечо. Видение исчезло вместе с остатками сна, и, когда он открыл глаза, оказалось, что уже стемнело, дверца кабины открыта, а на подножке стоит Ато.

— Ну и крепко же ты спишь, хоть стреляй над ухом, все равно не проснешься.

— Вчера лег за полночь, утром поднялся ни свет ни заря. — Самад, зевая, тер кулаками глаза. — Что, ехать нужно куда-нибудь?

— Да нет, я решил, ты голоден, наверно... Пойдем, пловом угощу.

Однако Самад думал сейчас о другом.

— Спасибо, душа пока не просит. — Включив свет в кабине, он глянул на часы. — Вот дела, скоро девять уже! Куда это ключи мои подевались. А, вот, упали... Слушай, Ато, иди к своему дяде, скажи, чтоб на полчаса отпустил меня.

- Что за спешка?
- Срочное дело у меня...
- Но... ведь там женщина...

— Потому я и прошу сходить тебя, — сказал Самад недовольно. — Ты все же племянник, родня, не упадет небо на землю, если зайдешь и скажешь.

— Нет, если там гость, пока дядя не позовет, мне заходить нельзя. Запретил он мне заходить. Лучше сам попробуй... Я бы со всей душой, да боюсь... Обругает меня, знаешь ведь его характер...

— Ну, друг, ты, видать, и на том свете будешь слушаться только дядю! — Самад зло усмехнулся и, оставив у машины растерянного Ато, решительно зашагал по аллее.

¹ Сестра.

Поднявшись на веранду, он невольно задержался. Цветные узоры ковра на полу, мягкий его ворс предназначены были не для изношенных и пыльных сапог Самада. На секунду он почувствовал себя неловко... И все-таки шагнул на ковер и пересек веранду. Из полуоткрытой двери напротив, из-за тяжелой портьеры доносился женский голос — включено было радио:

Сохнет кактус на окошке
Без тебя,
Почему-то грустно кошке
Без тебя...

Самад осторожно постучал в дверь.

— Кто там? — послышался изнутри бас Обидова.

— Я, — ответил Самад и немного отошел.

— Ато? — Обидов тут же появился сам, выглянул из-за бархатной портьеры. — Ты? — Он вышел на веранду, плотно прикрыв за собой дверь, и удивленно смотрел на Самада. — Чего тебе?

Обидов был уже слегка пьян, одна рука на поясе, в другой сигарета, тоненькой струйкой вилась вверх дымок.

— Чего тебе? — повторил он.

— Хочу уехать, если можно, на полчаса. Срочное дело у меня.

— Что за дело такое срочное?

— Я должен кое-что купить для младшего брата.

— Ну и ну! Да ты в своем ли уме? — Обидов усмехнулся наивности Самада. — Ты взгляни в окно, ведь стемнело уже! Какой продавец будет работать ночью?

— Наш кишлачный магазин каждый день открыт до девяти, полдесятого...

— Вот как? — слегка удивился Обидов. — Ну хорошо, а что случится, если ты пойдешь в магазин завтра? Почему сейчас беспокоишь меня?

— Я утром обещал брату, что привезу тетрадки, форму... ребенок он еще, плакать будет...

— Ничего, поплачет, не умрет!

— Как вы можете так говорить! У вас же у самого есть дети!

— Учить меня вздумал, мальчишка?! Выйди отсюда, не отпускаю тебя!

Обидов протянул руку и толкнул дверь в комнату. Из-за портьеры вырвался голос радио:

Сохнет кактус на окошке
Без тебя...

— Я должен поехать.

— А я тебе ответил: не отпускаю! И не могу отпустить! — Обидов снова прикрыв дверь,

песня доносилась глухо. — Не привыкай перечить старшим, не советую, молод ты еще! А если меня сейчас вызовут в райком, что я буду делать без машины? Ты понимаешь это или нет?

— Но ведь я быстро вернусь. Всего полчаса...

— Ну и глупый же ты, оказывается! Э, выйди!

— Не отпустите, поеду без разрешения! — Самад повернулся и шагнул к выходу.

— Только попробуй! Ты еще моим мылом не стирал¹. Сам поеду, говорит, а!

Самад, не отвечая, прошел по коврам, взялся за ручку двери и...

— Ладно, шайтан с тобой, — вдруг сказал ему в спину Обидов. — Езжай... Твое счастье, что занят я, гостя у меня. В восемь утра жди у моих ворот...

На аллее Самада встретил Ато, спросил виновато:

— Отпустил?

— Отпустил, насовсем...

— Ну вот, видишь, сам зашел, и сразу, как говорят, весь мир сделался садом! Не обижайся на меня, друг. Пойми, я потому не пошел, что хоть один вечер хотел без его крика провести. Я уже и заявление написал, да знаю, когда завтра приду к нему, попрошу перевести на прежнее место, шофером, все равно изругает меня. Неблагодарный, мол, я... Знаешь, зря ты мне сказал, что я и на том свете одного дядю слушать буду, вот увидишь, уйду отсюда! Тоже, называется — заведующий гостиницей! Да я здесь, как раб! Ну его в могилу, это заведение! Если машину не даст, все равно уйду, разве мало другой работы...

7

Из магазина Самад вышел, держа в обеих руках форму для Хосрова, тетради, ручки и карандаши.

— Куда путь держишь, Самад? — окликнул его Амон-щипач; он, как обычно, расположился на скамейке возле магазина.

— Домой, дядя.

— И хорошо делаешь, сынок! Однако я опять скажу: вчера ты очень поторопил меня. Чем привозить такую солому, лучше бы мне сидеть совсем без соломы! — Он привычно потер свой подбородок и укоризненно покачал

головой. — Жаль, ох, жаль — деньги мои пропали зря!

Самад лишь усмехнулся в ответ — эти самые слова он уже слышал от него утром, время будто стояло для старика на месте — и, ничего не ответив, зашагал дальше.

Подойдя к своему дому, он увидел бригадира Саида, тот шел навстречу, нес два ведра с водой.

— Не уставать вам, дядя! — окликнул его Самад.

Бригадир осторожно, не расплескав, поставил ведра на землю, потер поясницу, вздохнул:

— Говоришь, не уставать? Так наломался сегодня, кажется, эти ведра до дому не донесу.

— Давайте, я помогу.

— Спасибо, мне же рядом...

— Много рейсов сегодня сделали?

— Не спрашивай! — Он устало махнул рукой. — Ты ушел, и оставила нас удача... Сколько могут перевезти две машины? Еле-еле двадцать пять рейсов, считая шесть твоих... Всего получается семьдесят пять тонн.

— Вчера ведь у нас было девяносто шесть, да?

— Вчера терпимо было, а сегодня... Кстати, сегодня под вечер приезжал к нам секретарь райкома, прямо в поле, не к директору...

— Разглядел он, что у нас тут делается?

— Еще бы! На всех наших участках побывал, оказывается. Уехал недовольный... Никак не пойму, о чем наш директор думает.

— Может, ему сейчас не до того. Ну да утро вечера мудренее... Не стал, значит, секретарь разыскивать Обидова?

— Не стал. Так завтра ты где? В поле? Ждать тебя?

— Завтра? — переспросил Самад. — Думаю, завтра буду в поле.

— Вот это дело, — обрадовался бригадир. — Две машины — что такое? Я уж собрался было пойти к директору и крепко поговорить, но теперь, раз ты сам сказал... Значит, завтра ждем тебя...

— Будьте спокойны, дядя. Завтра буду в Арзанаке, — пообещал Самад и, задумавшись на миг, решительно добавил: — Обязательно буду! Как говорится, либо ось треснет, либо маслобойка¹.

Наклонившись, бригадир осторожно поднял ведра.

— До свиданья, братец! Значит, утро вечера мудренее, так ты говоришь?..

¹ То есть: ты меня еще не знаешь!

¹ Поговорка, аналогичная русской: «Либо пан, либо пропал».

ПЕТР КРАСНОВ

ШАТОХИ

РАССКАЗ

Уже второй день подряд Гришук сидел дома. Позавчера на него по дороге из школы напали бродячие собаки и покусали, порядком-таки подрали. Укусы заживали медленно, и ему было теперь и досадно и стыдно, что не с кем-нибудь, а именно с ним случилось такое.

Обычно он ходил в школу пажитью, потому что кто же пойдет с их конца улицей, когда пажитью вдвое короче; и вчера шел там же, по обыкновению угнув голову, разглядывая от нечего делать дорогу, иногда поддевая чesанком лошадиные «яблоки» и гоня их впереди себя. Это у него ловко получалось, и он совсем не заметил, как собаки оказались поблизости. Когда Гришук поднял голову, то увидел их метрах в пятидесяти от себя, не дальше. Шесть псин, самых разных собачьих рас и размеров, они беспорядочно трусили к дороге, наперерез ему, редко и безучастно перелаиваясь, поскуливая друг другу что-то, и Гришука, казалось, не замечали, потому что забот у бездомной собаки куда как больше, чем у какой-нибудь цепной брехалки. Судя по всему, они возвращались с колхозного двора, где мышкованием, воровством и прочим добывали съестное, к своему всегдашнему притону — траншее скотомогильника, вырытой прошлым летом с помощью бульдозера за пажитью вместо старых глиняных выработок.

Гришук разом забоялся, остановился, пережидая, пока вся эта разношерстная компания пересечет дорогу, стал разглядывать их — бежать было никак нельзя, потому что собаки тогда непременно вслед кинутся, хотя бы из любопытства; да и разве убежишь от них на чисто заснеженной, только кое-где в кулижках старой поляны пажити, когда до уличных ветел триста с лишним, а то и все четыреста пустынных метров... Он сразу же узнал бежавшую

чуть впереди стаи Волну — кокетливо-белую, несмотря на бродяжничество, с ладной пособачьи, умной и внимательной ко всему встречному мордой, хозяйку и праматерь всех обитателей скотомогильника; а рядом — немного позже, уже со страхом и смятением, с гадкой слабостью в ногах — пегого крупноголового кобеля по прозвищу Лютый, завидя которого любая домашняя собака либо зазывно и подданно скулила, егозя спиной и скашивая уши, либо поджимала хвост и опрометью бросалась к подворотне...

Гришук тихо завернул и, млея от ужаса и стараясь не махать руками, пошел не оборачиваясь прочь от собак, сам того не замечая все быстрее и быстрее, лишь об одном думая — только б не побежать...

Он отошел уже, казалось ему, далеко и, томительно замирая сердцем, все ожидал, что вот гавкнет Волна — и тогда вся стая, взъерошившись, взворчав и залавав вразнобой, кинется к нему и на него...

Он вдруг представил себе это так ясно — яснее некуда! — что судорожно вздохнулось, точно вздернулось что-то в нем... оглянулся на миг и припустился бежать, очень быстро, опять показалось ему, а на самом деле детским каким-то галопчиком, ослизаясь в накатанных колеях и не успевая хватать воздух охрипшими легкими...

За всем этим он не услышал, как прекратился за спиной семейственный мирный перебрех и как встревоженно-игриво тьякнула Волна, а когда еще раз оглянулся, то увидел разом, как, растянувшись по дороге, катится к нему, подвивая и влаивая, вся стая, а впереди нее плавными растянутыми прыжками несется Лютый, пригнув и чуть вобрав лобастую голову, уверенно и стремительно перебирая лапами дорогу... Гришук, задыхаясь в тоске, уже бежал кое-как, боком, не в силах не глядеть на его широкий, мерно качающийся в беге лоб, на деловито-настороженные, готовые на все гла-

за и чуть ощеренную в азарте погони пасть с блестящими слюной клыками...

Он споткнулся на бегу и с размаху упал, а когда вскочил, не чувствуя ни боли, ничего, то увидел, как околесил его сбоку дороги Лютый и остановился резко метрах в пяти, поводя запавшими от зимней голодухи боками и глядя на него чуть раскосыми, будто ожидающими чего глазами; и тут же на Гришука налетела и с ходу прыгнула, хрипло рыча, другая собака, целясь на приподнятую в защите руку — промахнулась и покатила через голову, а потом набросились остальные...

Что-то крича, задыхаясь и громко плача, он закружился, затоптался на месте, отчаянно замотал, забил руками среди ярого, осатаневшего враз хрипа и оскаленных морд, отворачивая лицо и все еще каким-то чудом держась на ногах под грузом насевших и повисших на нем собак; его уже хватануло за ногу, не больно, потом за кисть и сразу же опять за ногу, с треском разодрало сзади ватник, и он упал от сильного рывка за шиворот и съежился, с усилием сжался в комок, укрывая голову от рвущих и катающих его по талому снегу пастей, от липкой, жгущей кожу слюны и грязных дерябающих лап... В мгновения, столь короткие, он уже успел подумать с ужасом, что скажет матери, когда вернется такой вот подранный, и как ему перед ребятами будет стыдно, что он такой неудачник... И тут же понял, что он может ведь и вовсе не вернуться — да, не вернется никак теперь, совсем не вернется! — и от этой нелепой, ясной, страшной мысли он, не веря еще, застыл на миг, а уже в следующий закричал слабо и жалобно, подавая куда-то — куда? — вздрагивающий на пределе голос, чтобы хоть кто-нибудь услышал его в остервенелом хрипе нападающей стаи, чтоб только узнал, что он здесь и что ему помощь нужна — или он не вернется домой, умрет!.. Он вжался лицом и всем телом, как мог, в шершавый влажно-леденящий снег, прося защиты и у него тоже — и обмяк, почти теряя сознание.

Потом он услышал короткий взвизг, захлебывающееся рычание, опять визг; и собаки вдруг одна за другой отпали, отпрыгнули от него. Все, показалось ему, сейчас Лютый зачнет — все теперь... и он закричал снова, отрывая голову от снега и оборачиваясь к родным крышам и ветлам далекой улицы, пожаловался обессиленно:

— Мама-ань... да маманька же!..

Ему никто не ответил, и никто на него не кидался. Собаки, отскочив, глядели на него безучастно и незначуще, как на что-то успевшее надоесть, и одна из них с деловитым остервенением уже искала блох в свалывшейся своей

шкурке, а между собой и всей стаей он увидел Лютого и рядом с ним благожелательно виляющую хвостом, даже чем-то веселую Волну. Пес стоял к стае боком и тихо, содрогая воздух, рычал, а Волна как ни в чем не бывало ластилась к нему, то отбегая, то снова приближаясь, ласково прижимая уши и иногда поводя умной приятной мордой в сторону Гришука, точно прихихиваясь. Но Лютый все рычал, а потом вдруг куснул подвернувшийся ему бок Волны, та коротко ощерилась, огрызнулась, и они вместе затрусили по дороге, уводя за собой, не оглядываясь, всю стаю.

Гришук с трудом выбрался из истолченного, в сотнях звериных следов снега, сел на дорогу и молча заплакал. Потом он все же поднялся, чувствуя, как быстро немеет нога, подобрал варежку и пошел, хромя, к проулку, к улице, не оборачиваясь теперь на собак и не переставая плакать, слизывая с губ соленое — то ли слезы, то ли кровь; а навстречу ему уже мчались сани, лошадь, отворотив на сторону напряженную голову и кося ошалевшим белым глазом, несла галопом, и кто-то, стоя в санях во весь рост, кричал, матерился высоким злым голосом и махал кнутом...

Лошадь осадили так, что она, прядая ушами и храпя, сорвалась с дороги, увязла в снегу, а из саней неловко и торопливо соскочил и пошел, почти побежал к нему, выругиваясь, коных дядя Пантелеев, возбужденно и недовольно крикнул еще от саней:

— Да как же-ть они тебя-а? Куда глядел-то, когда шел?..

И, сбавляя шаг и страдальчески-досадливо морщась, подошел, легонько тряхнул за плечо — словно проверяя, цел ли он. Потом нагнулся к молчаливо глядящим на него Гришуккиным, в слезах, глазам; посмотрел удивленно и сожалеюще, успев заметить подранную детскую телогрейку, излохмаченные зубами чешанки, глубокую царапину на щеке, заплывшую густой от холода, шнурочком, кровью. Крякнул неприязненно, присел на корточки перед ним и опять качнул его за плечо, сказал грубовато и участливо, мягче глазами:

— Жив, значит? Ну слава богу... А я-то летел-спешил... боялся — задавят, шатохи! Как — больно покусали?

Гришук не ответил, вытер рукавом глаза и оглянулся назад. Собаки, прибавив ходу, разрозненной цепочкой уходили в степь, за комоватый гребень скотомогильника — поджав хвосты, горбясь, с угрюмством бродяг перед всем оседлым, хозяйским и потому никем не гонимым.

Дядя Пантелеев тоже проследил за ними, непонятно щурясь, потом не выдержал и, будто

забыв про Гришука, коротко ругнулся, пригрозил кнутовищем:

— Погодите, шатохи... отучим! — И сказал, оборачиваясь, по-родному дохнув на Гришука крепким запахом жареных подсолнушек и табака: — Где укусили-то, а? Больно?..

Он подвез его к медпункту, потому что нога у Гришука совсем одеревенела. Фельдшерница тетя Тамара столкнулась с ними в дверях и, увидев, должно быть, все поняла, только руками всплеснула. Потом она заторопилась; приготовила шприц и, приблизив к Гришуку белое, до единой морщинки промытое лицо и сказав при этом свое «крепитесь, молодой человек», сделала в ногу не очень большой укол; смазала обильно йодной настойкой и стала бинтовать ему неглубокую, крутой скобкой ранку над коленом, а потом еще по одной на руке и ноге. Дядя Пантелеев, несмотря на приглашение сестры, хмуро покосился на белые чехлы стульев и пристроился на корточках у двери, привалясь к косяку и неловко вертя в пальцах незажженную папиросу. Фельдшерница, обрезая ножницами края бинта и поглядывая на Гришука ласковыми и жалующими, в чистых морщинах глазами, сердито говорила:

— Чудо какой мальчик... такой мальчик хороший — и собаки!.. Не понимаю, как вы, родители таких вот, можете терпеть у себя под боком эту банду! Вы же мужчины, у вас ружья там, свободное время... на худой конец, можно участкового попросить, чтобы помог. Вот и у вас тоже есть девочка; прекрасная такая девочка, здоровая, полненькая, а как, чем я могу гарантировать вам, то есть им, помощь, если эти ужасные собаки едят всякую мерзость, падаль, всякие отбросы? (Вы, конечно, понимаете, о чем я говорю?) Достаточно самого незначительного укуса... А вы предпочитаете проходить мимо, и я не знаю, чего вы еще дожидаетесь!

Конюх молча следил за ее проворными руками; потом смял в кулаке папиросу, с видимым неудобством сказал:

— Да мы понимаем, Тамар-Пална, что нельзя уже... Сделаем что-нибудь...

— Ну так вы действуйте, действуйте, дети ведь вас ждать не будут. Сколько же можно: я за последние два года уже человек пять перевязывала, неплановую вакцинацию провела... поймите, это опасно! И дети напуганы, и... это же просто собачий террор какой-то!

— Сделаем, Тамар-Пална; что уж тут говорить, когда надо. Мы давно поговариваем, потому что уже не только ребятишкам, а и всем от них покоя нет: ни гусят не выгоня, ни...

— Ну так сделайте это вот сейчас, на днях!

— На днях? — сказал дядя Пантелеев озбоченно и будто бы растерянно.

«И сделают, — злорадно думал Гришук. — Вот соберутся завтра, например, и сделают этим собакам... чтоб знали, как на людей кидаться! А то им очень уж легко все сходит — то накинется на кого, то испугают не знаю как. Распоясались — силов нет», — думал он пантелеевскими словами. А ему — мало того, что покусали — еще и дома попало из-за этих шатох: мать как увидела его, всего подранного да перевязанного, так вся расстроилась, всплакнула даже малость, а потом подзатыльник дала, сказала, что ежели еще раз увидит его на косовой дороге, то, ей-богу, голову оторвет...

Гришук мрачно усмехнулся: как же, так он и будет улицей ходить как девчонка. Нет, это уж она слишком. Он возьмет клюшку и будет ходить в школу пажитью, с Витькой Кузиным, конечно; и пускай тогда собаки сунутся. В конце концов, он уже не какой-нибудь там второклассник, он может и сдачи дать кому хочешь...

Но слова матери и особенно лицо ее, одновременно в слезах и злой решимости, никак не выходили из головы; и от всей этой сырости и серости зимнего ростепельного дня, от материнской угрозы, от запрещений отца выходить на улицу и вообще от собак он расстроился и отвернулся от мокрого, слезившегося холодной ломкой влагой стекла.

Передняя изба, где он сидел, была пуста. Родители скоро должны были вернуться со скотных баз на обед. На кухне, за печью, посапывала на кровати бабка Гришука, изредка глухо покашливала и возилась. Стояла жилая теплая тишина; торопясь, убегая куда-то, спешно тикал на комод будильник, а следом за ним широко такали, будто шагали, ходики. Нарисованный на их циферблате кот, с довольной и несколько загадочной кошачьей усмешкой на морде, попеременно поглядывал то на дверь, то на Гришука: так-так, дверь — Гришук, так-так... «Может, на улицу сходить, а? — тоскливо подумал он, глядя на кота. — Да нет, ничего не выйдет. Бабка наговорит, потом от мамки хлопот не оберешься: вот, скажет, оставила тебя дома, в школу не пустила, а ты — шаландаться... Вот тоска-то».

Морщась больше от предосторожности, чем от боли, Гришук пощупал повязку на ноге — болит и припухла малость. Рука уже как будто ничего; пожалуйста, даже стукнуть можно по ней, а вот нога... нога немножко подводит. Приходил вчера Витька Кузин, прозванный всеми за свою пронырливость Кузькой, с ребятами из четвертого «Б», и они вместе, тайком от мате-

ри и бабки размотав пожелтевшие: от йода бинт, посмотрели: подсыхает, но еще не заживает пока. Ребята одобрительно кивали головами и, видно, завидовали, удивлялись, какой все же, оказывается, молодец Лютый: взял и отогнал собак и сам ни капельки не тронул. Вспоминали, как таскал он весной у Гаврюшиных гусят: выйдет спокойненько из лозняка и, пока там тетка шумит-орет издали, хватает на выбор гусенка и убирается себе в заросли. Из всей стаи так могли делать только он да Волна, другие то ли боялись, то ли вообще не трогали домашнюю живность.

«А Лютый, он умный — страсть — жмурил от удовольствия свои светлые смелые глаза Кузька. — Только он людей не любит, дикой стал, а так совсем как Белый Клык... вот!.. Не веришь?!» — И заранее сжимал костистые веские кулачки, готовый отстоять все, что ни скажет. Гришук молчал, только слабо улыбался и думал: «Как бы ты сказал, если бы увидел его вблизи...» Но Кузька ни много ни мало, а решил приручить Лютого и летом стеречь с ним колхозных коров.

Вечером Кузька еще раз забежал и сообщил, что мужики облаву затевают: подбил их на это дядя Пантелеев, только его не поймешь: то он только Волну с Лютым, как заводил, прибить хочет, а то, распалившись, орет — под корень их всех, и никаких! Воду мутит, одним словом. А Поньрин — тот, что на войне лейтенантом был и в школе про медали и ордена свои рассказывал, — уже и ружье приготовил, двустволку, и рассказал, как они лет семь назад гоняли собак по пажити — загоняли отсюда во дворы и там били. После этого, говорит, сразу дышать легче стало. Облава будет сегодня либо завтра, и он, Кузька, уже и дубинку с гвоздем приспособил, а где она у него спрятана — этого никто не знает... На упоминание о Белом Клыке он с независимым видом, не замаявшись даже, сказал, что Лютого он специально спасет, упустит, а уж после этого начнет его приручать. Такую собаку они ни за что не зажмут, как ни старайся; зато уж он вволю насмотрится на стрельбу. Поньрин сам говорил, что уже давно не стрелял ни в кого, кроме сорок; соскучился, мол, и теперь-то ответит душу...

«Врет он, — думал Гришук. — Как он спасет, когда там — ружье... Волну пусть бьют, так ей и надо, а Лютого жалко. За этого кобеля бывшему хозяину, Анисину, пастухи по пятьдесят рублей давали, так Анисин и слушать не хотел, потому как сам пастушил и без него был как без рук. Не жалел, бил чем ни попадя, а вот теперь ни денег, ни пса — сбежал Лютый на скотомогильник. Да и другие не от хорошей

жизни оказались там, и в компании им куда лучше».

Гришук не успел додумать, потому что в снях брякнула щеколда, дверь, сыро скрипнув, открылась, и в кухню ввалился Кузька. Круглейшее, в плоских конопинах лицо его было бледно от торжества, быстрые глаза зыркнули туда-сюда по занавескам и запечью, и Гришук вдруг все понял — облава.

— Ну, ты что?! — хрипло и сварливо крикнул Кузька с порога, увидев его. — Проспать хочешь, да? Тогда как хочешь, а я побежал. — И сделал обманное движение назад, в сенцы. — Ну?!

— Подожди ты, — возмущенно взмолился Гришук и кинулся к печке за валенками. — Вот ведь... я же не знал!

— Да-а, конечно, ты не знал, а там уже народу полна паж. Где фуфайка? — И принялся помогать ему одеваться.

Гришук уже не думал, что ему вечером скажет мать, торопливо рылся в груди одежды. За печкой недовольно завозилась бабка, послышалось ее сиплое со сна: «Родимец вас... Гришка, кудой ты?..» Гришук, не отвечая, выскочил следом за Кузькой наружу.

Тот молча сунул ему в руки запасенную палку. Они скорым шагом, хотя Гришук и прихрамывал, прошли до проулка, обогнули навечно врытый на углу старый мельничный жернов, выбрались на дорогу, ведущую через плоскую заснеженную пажить к скотомогильнику.

На задах у ближнего плетневого сарайчика и сваленных бревен стояло человек пятнадцать ребятни и взрослых, почти все с дрекольем; курили, переговаривались, поглядывали на видневшийся в конце дороги, в полукилометре, пятнистый от снега гребень скотомогильника. Низкое, набухшее серой зимней влагой небо накрывало степь однообразно ровно, далеко, и сам свет, что шел сверху, тоже был какой-то серый, сумеречный, будто через немытые маленькие оконца доходил сюда. «Ну, вот собрались, — с запоздалой обидой на дружка подумал Гришук. — Постоят тут и разойдутся, а мне объясняйся тогда с мамкой. Ладно бы облава, а то из-за пустяка».

Посредине толпы стоял с закинутой за плечо малокалиберной винтовкой Васька Котях, высокий тощий парень, горбоносый и суровый. Мелкашка, отсвечивая коричневым густо-прозрачным прикладом и вороненым стволом, молчаливо смотрела на чесанки окружающих, а ее владелец строго и с неохотностью говорил:

— Задумка эта ваша задумкой, но чтой-то не верится, что ко дворам побегут. Учуют, стервозы,

— 'А я тебе говорю, что побегут! — Конюх злился, и лицо его, такое всегда простоватое, даже безалаберное, было сейчас тревожным и сварливым и все время морщилось, будто он никак не мог проглотить что-то и теперь вот мучается. — Тоже мне — не побегут!.. Как миленькие пойдут, ежели с тылов пугнуть как следует. Они и в прошлый раз — Поньрин вот не даст соврать — тоже впоперек улицы в лозняк, на Крушиниху, пытались уйти, потому как им больше деваться некуда. Во дворах будем ждать, только с одним уговором — не шебаршить! — Он обернулся к Поньрину. — Ты тогда их стрелял, лет семь тому назад — скольких убили?

— Черт их знает... штук пять, однако, не мене.

— Да тут народу-то, — опять усомнился Котях, пренебрежительно покосился на ребятню. — Одни едоки...

— Сейчас подойдут, не бойсь, — сказал Поньрин, доставая деревянную, захватанную руками табакерку. Придерживая поставленную прикладом на валенок двустволку, захватил щепотку, большим пальцем заправил обмохнатевшие ноздри, потянул носом и, не чихая, но судорожно позевывая от табаку, досказал: — Набегут — не разгонишь. На деложет, а на безделье... найдутся охотнички.

— Тыфу ты, черт, — нервно сказал конюх, с неприязнью поглядывая на сиволапого неприбранного Поньрина, на его занозистое, с неопределенной ухмылкой, обрюзгшее лицо, — опять начал нюхать. И когда ты нюхать перестанешь дерьмо всякое?!

— А когда помру, — сказал Поньрин, приторно смеясь. — Когда в ноздрю червяк залезет, тогда и перестану. — Довольный ответом, независимо подернул полными бабьими плечами, словно встряхивая затертую стеганку, спрятал табакерку в карман ватных штанов. — Да ты што волнуешься, Ефимк, — будто быть роды принимаешь! С меня пример бери, я — как штык, всегда на острие.

— А никто и не волнуется, успокойся, — недовольно сказал Пантелеев, но Гришук опять увидел, как он поморщился, шевельнул желваком. — Нам бы дело сделать, а волнуются пусть шатохи эти. Перебьем всех, тогда и поволнуемся.

Поньрин перестал улыбаться, пораженно будто бы хекнул и опять полез за табакеркой, кругля удивленные глаза:

— Ну ты даешь, Ефим... то ты Лютого с Волной уничтожать хотел, а теперь... прямо семь пятниц на неделе... Как тебя опесля этого понимать прикажешь?

— Да так. Стреляй, да не мажь.

— Н-ну, милай... Я прямо угадал, ей-богу. Мотри, полон карман желтяков набрал, как в воду глядел. — И вдруг обрюзг еще больше, заносчиво оглядел всех, показав, что шутки он пошутил, а теперь хватит, и сказал средь тишины: — А ты что ж думал, что я сюда ради одного кобелька приплясал, едрена корень?! Нет, милай, пока я их, — он похлопал широкой ладонью по карману, патроны приглушенно звякнули, — не поцукаю, с пажки не уйду и от собак не отстану. Тебе это в забаву, нет ли, а я на них давно зубок имею — за цыпканов моих, инкубаторских, и вообще... — Он передохнул. — Я тебя вчерась послушал-послушал, а нынче будя! Мне плевать, какие они там, с каких обид от хозяев поразбежались, я сюда стрелять пришел. И я им устрою кордебалет, они у меня попляшут! — Поньрин опять ухмыльнулся, сдобривая общее впечатление, и с показной силой потряс ружьем. — Повоюем! Правда-ть, Вась?..

Котях промолчал, глядя на скотомогильник, на копешку посередине пажити, где ему предстояло сесть в засаду, спросил шофера Боборыкина:

— Так они точно там, в яме?

— Ну да. Коська-осеминатор только что палого телка туда свез; грит — вся их компания там, штук десять, а может, и все пятнадцать. Свалил, грит, телка и не успел в сани сесть, как они мигом на дохлину кинулись — аж шорох по степу пошел. Меня, грит, оторопь взяла; и как, мол, мальчонка Переязовых позавчера терпел... Так и погнал лошадь галопом. Ну а после обеда этого они оттуда даже-ть и не высовывались, отдыхать после дохлятинки изволют... — Ладный, подвижный в физиономии Боборыкин шутовски развел руками, словно хотел сказать: «Уж не обессудьте, но после такого разговора отдых непременно нужен...»

Котях только хмыкнул.

Народу прибавлялось, но приходили все больше ребяташки, толкались, хвастали палками. Взрослых было совсем мало, охотников на такое дело, видно, не находилось. Разбившись на кучки, обсуждали планы, уговаривались, спорили, даже поругивались; и иногда, словно какой-то общий ток возбуждения и тревожной неуверенности пробегал вдруг по ним, прималкивали и оглядывались в раскрытое настезь поле. Конюх не вступал в разговор, будто бы вся затея уже разошлась ему; только слушал хмуро и щурил изредка свои понимающие людскую суету глаза, а потом отошел в сторону, присел на отмокшие осинового бревна, закурил. Завидев Гришука, подмигнул ему невесело — «Вот так-то, брат, дела складываются».

ся», кивнул на место рядом. Гришук, польщенно краснея, подошел вместе с Кузькой, они сели.

— Ну как, Гришень, уже и палку подобрал? — Тот кивнул. Конюх усмешливо, со всегдашним добром оглядел его, спросил: — Так, говоришь, поправился уже?

— Да не-е, — от волнения сипло ответил Гришук, опуская глаза и тыкая палкой в мокрый снег. — Болит еще, а так ничего.

— Хромает он, — деловито и независимо сказал Кузька, рассматривая подходящих с дрекольем парней, из старшеклассников. — Не успел ты, вот он и чикиляет.

— Ишь ты, — сказал конюх, не удивляясь, потому что Кузьку таким знали давно. — Как же бы это я успел, коль так получилось...

— А что, — совсем неожиданно для себя вдруг спросил Гришук, и голос его опять сорвался и перешел почти в шепот, отчего стало неудобно вдвойне, — Лютого тоже бить будут, да?..

— Не бить, а убивать, — солидно поправил Кузька, даже не глянув на них. — Конечно, а што ж с ним — лук чистить, что ли? Дядь Поньрин вон сколь патронов набрал — как даст! Я, когда в восьмой пойду, тоже ружье достану...

— Ты дораста сначала, — жестко и удивленно сказал дядя Пантелеев, и Гришук тоже удивился и обиделся на него за такую неверность Лютому. — В восьмой он пойдет... убивец какой! Молоко оботри сначала.

Кузька надулся, но ответить не посмел и, захватив свою дубинку и хмуро шмыгнув носом, поспешно отошел к толпе. Там гомонили уже разом, даже руками помахивали. Молодой, с мелкими чертами веснушчатого, уже пропитого лица Филька-счетовод говорил высоким досающим голосом, стараясь перебить Поньрина:

— Э, нет... Э-э, нет! Тебе дай волю, так ты со своей ружьей... да подожди ты, ей-богу, дай сказать: ты со своей ружьей не подумавши начертоломишь...

— Когда это я чертоломил?!

— А всегда! За што ты осенью Дамку у Соловьевых убил? Не дал тебе Микита в морду и до сих пор жалеет. А ты и сейчас...

— Ты про морду забудь говорить... тоже мне, деляга, про морду говорить! Не дорос еще до моей морды.

— Как-нибудь дорасту, будь спок. А вот Ефим вам правильно говорит: Волну с Лютым надо прибить — и только, остальные сами поразбегутся... А вы что? Неужель еще и тогда, в первый раз, не настрадались!..

— Он вон передумал уже, твой Ефим. И вообще, что это за разговоры такие — жалеть?!

Все люди как люди, только вы тут с Ефимом мозги крутите. Неохота тебе обчее дело делать, ну так дуй к своей Мане, отдыхай — и будь здоров. Кто тебя знает: может, ты дома и мух не бьешь оттого, что жалко... Ненормальный какой-то. — Поньрин брезгливо и равнодушно отвернулся.

— Да-к ведь совесть надо иметь, что ж сволочиться-то, ну!..

— Вот и имей. Праведник нашелся!..

Филька выругался, грязно и заковыристо, и видно стало, что он уже хорошо выпил. Все молчали и даже ругань его слушали сочувственно, потому что, сколь ни был Поньрин человеком веселым и артельным, а жалости не знал.

— Сволочи! — сказал еще раз Филька, оглядываясь в толпе и разводя руками недоуменно и горько. — Ну не будьте вы в самом деле сволочами такими... хрен с ними, пусть бегают, а?! Сдались они вам?!

— Ты там не очень сволочи, парень, — поддал вдруг голос Пантелеев, и все оглянулись на него. — Ты лучше посмотри, как они парнишку разделали — жуть одна! («И ничего не жуть... так это он», — подумал Гришук, недовольный, что на него стали смотреть.) Решили — стало быть, будем бить, нечего тут митинговать. С умом надо — это другой вопрос.

— Да, — сказал Васька Котях, до этого с замкнутым лицом слушавший спор, — ты бы, знаешь, заткнулся, Фильк, мы тут не рыдать собрались. А ты напился и рад.

— Да как вы не понимаете! — закричал зло Филька, сразу весь встопорщившись и покраснев пьяно так, что конопины исчезли. — Как вы не понимаете, что нельзя так, а?! Дураки! Што ж вы...

— Но-но, дурачить будешь! Иди отседова!

— И уйду! Я таким паскудством век не займался, и нечего! Поперек горла вам эти собаки стали, да?! Развлечься захотели, да?! Я в газету напишу, гад бы меня взял, если што!

— Ну и дурак ты, — тихо сказал, морщась, конюх и встал. — Люди дело хотят сделать, а он встает. Иди, ради бога, отсюда, пока не наклали. Не морочь головы. Они без тебя замороченные.

— Я уйду! — Филька распаленно погрозил высоко поднятой рукой и, воинственно пятясь, выбрался из толпы, лицо его от гнева совсем распарилось, и глаза покраснели от навернувшихся злых слез. — Я уйду, будь спок... А только вы не думайте, гады такие, что если вас много собралось, то вы уже — народ! Сообща, говорите?! Мальчонков набрали, причасте, а они вам потом сами головы поотвернут, гад буду! Уйду я!..

— Иди, иди... уч-читель какой! К Мане в подол посморкайся, огурец зеленый.

— Втык надо бы дать, — мечтательно сказал не потерявший присутствия духа Поньрин, глядя вслед Фильке-счетоводу. — Чтоб не орал. Халыва непутевая.

— Ну его к черту, связываться с ним, — с досадой бросил Боборыкин. — Он кому угодно мозги запудрит. На трезвую голову парень как парень, а выпьет — все ему кажется, что очень уж люди друг друга забирают. Он и прошлый раз напился и все себя за рукава кусал, прямо мучился. За што, грит, они друг дружку так понапрасну, даже-ть по мелочам обижают, душу себе рвут? Ладно бы, грит, по крупному делу, по нужде; а то ведь так, от вредности натуры. Разве так, мол, надо?! Ладно, грю, сам не больно неженка, переживешь. Он этого самого... Золю и еще всяких читает, ну и мучается.

Боборыкин задумался на миг, поскуцнел и потом удивленно и невесело хохотнул, еще вспоминая:

— Человек, грит, должен быть чистым перед мать-природой, как, например, лошадь или свинья... Так и сказал — свинья!..

— Делать ему боле нечего, сопливцу, — лениво сказал Поньрин и огляделся. — Ну, хватит нас?

— Сейчас еще подойдут. — Пантелеев опять сел на бревно, ссутулился. — Человек тридцать хотя бы надо, иначе не управимся. Не больно спеши, успеешь.

Гришук с усилившейся вдруг от всего этого тревогой наблюдал за ними, смотрел на примолкших, ставших будто недовольными людей и чувствовал и ждал, как и все вокруг, чего-то нехорошего. В самом деле, и что это они вдруг так разволновались? Конечно, собак жалко; но вот и Тамара Павловна говорит, что больше так нельзя, и дядя Пантелеев — не зря же он мужиков поднял и с Поньриным связался... Филька, конечно, тоже правду говорит, но он ведь ничего не понимает, его собаки не кусали. Но что-то в Фильке, в ругани его было такое, отчего все жальче становилось Гришуку собак, особенно Лютого; и он, преодолевая робость, тихо спросил хмуро смолвившего папирску Пантелеева:

— А чего это он так, а?

— Кто, Филька-то? — переспросил конюх недовольно, затянулся в последний раз и сунул окурок под галошу чесанка, растер его. — А спроси его поди. Дурит он — и боле ничего. Дурь свою выказывает.

— Нет, — сказал почти шепотом Гришук, не поднимая глаз, — как же он дурит, когда вправду жалко... — И, не услышав ничего в ответ, заторопился: — А Лютый хорошая ведь

собака, он вон как у Анисина коров стерег. Это Анисин его бил, вот он и сбежал.

Конюх не отвечал, а потом сказал подсевшему Боборыкину:

— Черт те знает, как мы живем с этими собаками — никак миру не получается. Шабры, видать, не те.

— Шабры фиговские, это надо прямо сказать, — с охотой поддержал шофер. — Зло на человека держат, а это хуже всего. Да и мы тоже... Взять хоть этого Лютого — как его Анисин порол!.. Знамо дело, синяков или еще чего у пса не увидишь; заместо этого у них в тех местах, куда саданут, шерсть этак топырится... Так трава вянет, когда дернину подрежешь. И, помню, всегда он в ложах бегал, а в позапрошлом году Анисин на дойке так его перетянул кнутом при моих глазах... я думал, он его надвое охвостником развалит!.. Нет, отлежался где-то пес, травки покусал и вернулся-таки к хозяину, простил. Пошло у них опять все по-старому: Анисин дрыхнет, а Лютый коров сторожит день-деньской, за двоих; а если что не так — Анисин за кнут. Кобель, известное дело, от этого злел, ну и дотерпелся до точки, и теперь вот ни себе, ни людям... Непутево с ним вышло.

— Так от Анисина уже вторая собака бегает, — веско и значительно подтвердил Котях. — Не вытерпливают. Скучная, должно быть, житуха.

— А вот Волна — та, наверное, лисьей какой-то породы, сроду такой стервы не видел. Через нее и все остальные наглеют дальше некуда: как гавкнет на кого, натравит — на того и кидаются, а она в стороне, сучка. Она нам всех ребят перепортит, если не изничтожим, так что, Василек, гляди: первой ее кончай, а потом уж кого хошь.

— Сам знаю, — буркнул Котях. — Да и хватит трепаться, давай по местам. А то уже надоело.

Ожидание затянулось, все это понимали и потому заторопились. Поньрин не мешкая отобрал в свою группу человек десять загонщиков, мальчишек, и сразу повел их вдоль задов к Казаковой лощине. Ею он рассчитывал выйти в тыл скотомогильнику и оттуда гнать собак к улице, мимо копешки, где засядет Котях. Скоро они все скрылись в лощине, пажить оставалась пустой, и никто бы не мог сказать, что дело уже началось. Сразу видно, что на войне был, с уважительной завистью подумал о Поньрине Гришук; небось никто бы до этого не додумался.

Боборыкин и Пантелеев собрали всех оставшихся, распределили по дворам, и вышло, что

на каждый двор приходится по два, а то и три человека.

Гришук не отходил от конюха и попал с ним в один двор. Они разместились возле заднего плетня на какой-то колоде. Дядя Пантелеев опять покуривал, поцыкивал слюной в желтый от коровьей мочи снег, изредка оценивающе и зорко глядел сквозь щели плетня на пажить и молчал. Гришук сидел рядом, сжимая в руках даденую Кузькой палку, и все думал, как, наверное, негоже убивать собак, если Филька еще с того раза помнит и ругается. Сам он много раз видел, как режут овец, колют свиней; и ничего, не страшно вовсе. Вообще-то немножко страшновато, что и говорить, но больше жалость берет; а тут он не знал даже, что и думать. Может, и вправду Филька дурил, потому что выпимши? Он такой, он все может, вон тетя Маня, жена, рассказывала, что не успевает его из всяких историй вытаскивать... Но все, чувствовал он, было сложнее: на собак он уже почти не злился — в самом деле, ну их к черту, этих шатох, — и уже начал втайне надеяться, что из такой затеи взрослых ничего не выйдет.

В соседних дворах после окриков старших говор мало-помалу стихал, переходил в несвязные шорохи, еще тишал, но истинной тишины, казалось Гришуку, не наступало: напротив, по мере того как умолкали бубнящие что-то голоса, возбужденные переклики, кое-где смех — по мере этого в начинавшейся, ожидающей, подчеркнутой редкой неосторожной возней тишине стало наконец проявляться, копиться в самом воздухе то неопределенное томительно-возбужденное напряжение, исходящее от молчания трех десятков спрятавшихся людей и еще совсем малоопытных, чей азарт будто бы пока не выходил за пределы условностей игры, и людей поживших, выдавших виды, чья цель была теперь в том, чтобы сделать поскорее это не совсем приятное и хлопотливое, но нужное, по общему признанию, всем дело — сделать и пойти домой отдыхать. Все они, наверное, и думали по-разному, и желали разного; но недавно происшедшее с мальчуганом Перевязовых и облетевшая вслед затем все село весть, что собаки, мол, обнаглели вконец и уже и проходу никому не дают — все говорило, что здесь надо обязательно сделать что-то, иначе потом поздно будет.

Гришук не знал ничего этого, он только сидел, ждал. Не тишина, а молчание затаилось по всему концу; и он, смутно чувствуя суть этого расплывшегося во всем возбуждения, угрозы, неуверенности и злорадства, наконец понял, что все это вместе называется засадой. Он и не знал даже, как можно представить себе картину предстоящего, но от всего уже виденного и слы-

шанного сегодня ему стало неуютно и тоскливо, как у чужих в долгих гостях; потянуло домой, в его теплую тишину, к коту на ходиках, к ветеринарному запаху отцовского рабочего халата... Но дело уже началось, пошло своим неведомым чередом, выйти из которого казалось ему теперь невозможным, и он вместе с другими людьми сидел, ждал и все надеялся, что ничего не будет.

Они сидели минут пятнадцать, а может быть, и больше, никто не знал сколько; и тут конюх, заглянув очередной раз в щели плетня, вдруг замер, а в соседнем дворе среди общей тишины кто-то, не выдержав, крикнул: «Вона!.. собаки — во-о-она!..» У Гришука екнуло внутри, он торопливо подобрался к плетню, прижался к влажным прутьям лицом, стараясь поймать в щели серый размытый горизонт и этих, уже появившихся, как крикнули, собак. Он нашел скотомогильник и сразу понял, что там происходит нечто, что будто бы сам воздух, сам отпетельный день пришел там в движение. Он увидел что-то мелькнувшее раз-другой сбоку и сзади гребня и тут же догадался, что ребята уже дошли туда и выпугивают собак; и, словно в подтверждение, оттуда донеслось следом друг за другом два ружейных выстрела, приглушенных сырым воздухом, нечетких, но пугающих. Гришук, суетясь и сердясь на самого себя, выломал прут, щель стала совсем широкая.

Он отчетливо увидел, как из-за глиняного, в белых потеках отвала траншеи выскочили несколько собак и, не останавливаясь, высоко вскидывая лапы, запрыгали по глубокому снегу в сторону задов, к ним; и тут же в той стороне над отвалом вспухнул белый дымок, донесся уже более ясный, будто там шар лопнул, звук выстрела, и вороны, поднявшиеся из траншеи при появлении людей, с тревожными криками, пикируя к земле и беспорядочно взмахивая крыльями, рассеялись над степью.

Собак было десять-двенадцать, они бежали растянутой стаей — как раз к копешке, где сидел Васька Котях, только чуть правее. Стаю вела Волна, двигалась медленно, словно нехотя, изредка приостанавливалась и поворачивала голову к скотомогильнику. Остальные трусили следом, всяк по-своему, еще не напуганные как следует — лишь бы отвязаться от преследовавших... Гришук облизнул пересохшие губы, подался еще ближе к плетню: сзади, неподалеку от Волны, чуть припадая на свою криво сросшуюся лапу, бежал Лютый, подобрал хвост и согнувшись, словно ожидая удара в спину. И другие собаки тоже поджимали хвосты и пригибали виновато и угрюмо головы; но то, что так делал сильный, умный и так всегда уверен-

ный в себе Лютый, настораживало, придавало всему свою, особую значимость и угрозу.

Слева от скотомогильника высыпала на пажить ребягтя, и теперь оттуда стали слышны крики, свист и улюлюканье, слабое разноголосье. Наверх гребня вылез, оставив от себя ружье, Понырин, повертел головой и торопливо припал к земле. Пыхнул дымок, докатившись до дворов звуком, картечь черкнула снег возле черной, с желтыми подпалинами собаки. Было странно, но он вроде бы попал. Собака, словно подстегнутая, рванулась было вперед и потом сразу отстала от товаров, запрыгала тяжелее, неровнее, с каким-то неестественным, большим даже на вид прискоком, забирая влево. Из-за сарая, справа от Гришука, грянул разрозненный торжествующий крик, и тут же Пантелеев, взбеленившись и ругаясь самыми последними словами, кинулся к той стенке, к крикунам...

Понырин там выстрелил опять — «Б-пах!», потом еще раз, но все никак не мог попасть в отставшую; и наконец встал, отряхнулся и двинулся, тяжело переваливаясь в снегу, вслед за собаками.

Эти выстрелы и неожиданная немощь товарки совсем встревожили стаю, но скорости они по-прежнему не прибавляли, будто не зная, куда убежать. Угрюмо насторожился Лютый. Он тоже с натугой поворачивал свою лобастую голову назад, к Понырину, что плелся глубоким снегом и на вид был пока не опасен; и совсем не чуял, что приближается к погибели своей, к копешке, где сидит мнительный и молчаливый, редко промахивающийся Котях со своей малокалиберкой. Гришук застыл, глядя на Лютого и давно уже забыв обиды свои на стаю, — лишь бы Васька промахнулся...

Село совсем притихло, затаилось, оградившись с задов плетнями, сараями, покосившимся горбылем заборов; немели разинутые рты ворот и дверей, ждали равнодушно, и в этом молчанье, в сером дне трусили по полю, проваливаясь в снег, собаки, будто под замахнувшейся неумолимой рукой пригнув головы, — бежали ничьи, бесхозные и всем чужие, догоняемые серой мешковатой смертью, с виду неопасной, но потому такой неотвратимой в упорстве и равнодушии своем, что они, кажется, даже повизгивали в покорном страхе, в предчувствии худшего...

Сначала Гришук подумал, что это ему просто кажется, но затем явственно, несмотря на отдаленность, услышал он, как прерывисто, на бегу, скулит какой-то пес — на одной ноге, пощеньячи беззащитно, чувствуя, как замыкается круг глухой неизведанной тишины и, кажется, смерти. Вдруг заскулила еще одна собака, потом другая затянула тонко и жалобно, приоста-

новившись и подняв к небу морду, точно приносясь в тоске к опасности, исходящей со всех сторон. Короткий нервный скулеж возник на пажити, потянулся в небо, скорбный; и такая обреченность, такая тоска слышалась в этих глухих, будто из самой земли вышедших звуках, такая ребячья боязнь перед окружающей их неизвестностью, творимой судейской жестокостью людей сзади и тех — чуяли и слышали они, — что ждут их впереди, что Гришук задрожал, заволновался, заметался у плетня и вдруг встал и пошел, сам не понимая зачем, к воротам.

— Сядь! — настиг его голос конюха; и он остановился и почувствовал сразу, как отекли, устали его ноги, как сам он ослаб, будто приближенный этим голосом к месту. — Ты эт-та... ты мне брось это! Сиди и не ворохайся, понял мне?!

— Я только...

— Сядь, — прервал конюх, глядя уже зло и настороженно, и по его лицу видно было, что он все понимает и не советует выкидывать всякие штуки. — Тоже мне, нашелся... Ты посмотри, какой щенок — и слушать не хочет. Сядь!

Он отвернулся к плетню, стал следить, как понемногу приближаются собаки к копешке, входят в зону огня Котяха; а Гришук, красный от волнения и боязни перед старшим, от недовольства собой, неохотно пошел на свое старое место.

Пантелеев уже успел забыть о происшедшем. Он начал волноваться: отрывался от щели, поглядывал, будто по солнцу хотел определиться, на низкое небо и приговаривал осевшим от нетерпения голосом:

— Да что ж это он, а? Что не стреляет-то, мать честная, иль патроны забыл?! — и недоуменно поворачивал к Гришуку побледневшее, с резко проступившей оттого щетиной лицо, словно справлялся у него об этом. — Иль он взаправду забыл? Ну, давай, ну?! Бей, дурак!

И почти тотчас плоско и хлестко хлопнул, перетянув все поле, винтовочный выстрел — и тут же Волна прыгнула в сторону, неловко и неверно, потом ткнулась носом в снег и, заваливаясь на бок, быстро-быстро перебирая лапами, поползла в сторону, оставляя за собой темную размазанную полосу. Котях, видно, быстро перезарядил, из-за копны опять, словно кнутом щелкнули в воздухе, протяжно и стремительно полоснула мелкашка. Крайняя к копне собака встрепенулась, приостановившись, и медленно и неохотно осела, легла.

— А-га! — крикнули радостно в сарае. — Ага! Так их, Котях, м-мать-иху!.. Бей!

— Да вы што! — приняжая голос, страшно закричал конюх. — Вы что ж, гады... слов не понимать! Молчи...

Из стаи, вытянувшись в прыжке, вырвался Лютый. Котях (видно было, как он ворочался в копне) поторопился выстрелить, но пес, не сбавляя скорости, мчался прямо к сараям. За ним, взлаивая и повизгивая, кинулись было остальные, но сразу отстали, будто разуверившись в вожাকে, и остались на пустой полукилометровой пажити.

Волна ковырялась в снегу, все пыталась поднять голову, и ее сиплое страшное скуление прорезывало разрозненное и испуганное тявканье растерявшихся собак, проникало насквозь, в самую душу. В муке, в недоуменье доживала она свои последние минуты, еще не понимая случившегося, но вся пронизанная ужасом перед своим, неизвестно откуда взявшимся бессилием, как раз тогда, когда надо бежать, во что бы то ни стало бежать от наступающей сзади напасти. И она пытается поднять голову, посмотреть, а сильное тело не слушается ее и уже подрагивает, дергается в первых мускульных разрядах агонии и слабеет с каждым новым мгновением боли и муки...

Поньрин после нескольких холостых вскидок решил наконец выстрелить; присел и, поведя стволом, вытолкнул тугой пучок огня и звука. Искусанная картечью, бешено завертелась на месте молодая собака, изгибаясь и цапая пастью воздух сзади, словно назойливых мух ловила; и потом будто успокоилась, прилегла, положив морду на лапы, уже не глядя никуда, ничего не желая и не боясь, высунув язык и часто дыша. И ее точно сковывали лень, снег, неодолимая внутренняя сонливость, она тоже подымала голову беззащитно и тяжело, и голова падала на лапы в сильнейшем из всех снов.

Лютый большими прыжками приближался к задам. Он вышел на соседний, кулугура Харина, двор; и Пантелеев, не отрывая глаз, удобнее перехватил вилы, тряхнул ими, примеряясь, потихоньку кашлянул, изготовился, чтобы вовремя выскочить и отрезать ему дорогу назад. Лютый замедлил бег, оглядываясь на ходу и приволакивая задние лапы (пуля, похоже, все же попала ему в ляжку), и скользнул в открытые ворота. Конюх выскочил за плетень, кинулся туда.

Из ближних дворов выбегала и спешила к попавшему в ловушку Лютому ребятня, за ними мужики, и двигавшиеся за вожаконь собаками отвернули в степь. Гришук остался один. Он не знал, что делать и куда ему идти теперь, бежать куда, и растерялся. Смотреть, как будут бить Лютого, он не хотел и домой сейчас уйти не мог...

Он неуверенно вышел через ворота на зады, и ему стала видна вся пажить — теперь уже

взбудораженная, полная суеты, кликов, неестественно-торопливой деловитости... Еще несколько человек пробежало на поле, крикнул что-то на бегу Кузька, махнул призывно и возбужденно, и Гришук пошел в ту сторону.

Над пажитью тяжело провисали, давили окрестности сплошные, синюшные в предсмерках облака, сыро чернели постройки, с улицы от выброшенной золы несло оттепельной гарью. Совсем молодой кобелек, ближний к Гришuku и людям, выл прерывисто, на одной ноте, уже утомленный ужасом, и полз куда глаза глядят, лишь бы подальше от этой пажити с острым цепенящим запахом крови, от мельтешащих в беге за бугром и все увеличивающихся черных фигур людей...

Поджав хвосты, уходили в сторону, к ближнему овражку, остальные собаки, а вслед им с видимой торопливостью пускал, привстав, пулю за пулей Котях, и так же торопливо вспухивали клубки плотного дыма и нечеткое, как сквозь вату — «Б-пах-бах-х!» — дуплета вместе с пугающим свистящим шорохом крупной дробы, но за отдаленностью все мимо. А вот Поньрин дошел до Волны, переломил ружье, перезарядил и вдарил по собаке метров с двух-трех — так, что шерсть на ней вздыбилась...

Гришук подошел к ставшей кругом толпе, пролез вперед. Кобелек лежал посередине, редко и тяжело подымая дыханьем свалывшуюся грязную шерсть на тощих боках, — молодой, не утративший еще щенячьей голенастости, — и затравленно и непонимающе озирался, оголая молодые клыки и поджимая уши. Стоящий неподалеку Кузька сунул ему к морде палку, и пес рванулся, пытаясь подняться, зарычал, завозил передними лапами. Но перебитый картечью позвоночник только дергался от усилий и боли, и пес залиvisto рычал и взлаивал, пытаясь ухватить белыми в розовой слюне зубами палку.

— Сыночек у Волны! — присвистнул кто-то. — Ты гляди — сам еще и кости не разгрызет, а туда же, кидаться.

— Он самый, ейный. Ишь, морда-то, — точь-точь Волна, тока масть... Ну, давай кончать.

Псина с рычанья перешел на скулеж, от усталости и страха прикрыв глаза и все так же прижимая уши; заскулил виновато и боязно.

— Да што там — давай! — крикнули сзади, и здоровенный и туповатый парень Витяня, словно его подтолкнули, шагнул вперед и с мужичьим хаканьем всадил в оскалившуюся морду навозные зубья вил. Еще Гришук успел увидеть, как и Кузька замахнулся своей палкой, а потом его затолкали, затерли в отхлынувшей

толпе, освобождая место; только были слышны удары по мягкому и чье-то хриплое, распаленное дыхание.

Гришук, разом озлев и яростно толкаясь, выбрался из толпы, отер сухие глаза. В разных местах пажити добивали собак, качались и сновали фигуры людей, бегали, таскали что-то мальчишки, перекликались. К скотомогильнику осторожно, окольно слетались вороны. Гришук неизвестно почему пошел к грязному бугорку вдалеке, к тому, что всего полчаса назад было хитро-жесточкой Волной.

Люди быстро оставляли пажить; и один раз, оглянувшись и еще не дойдя до Волны, Гришук увидел, что поле уже почти пусто, если не считать трупов собак, валявшихся на вытоптанных круговинах тяжелого снега; и только от ближнего, с мокро свалывшейся, вымаранной в крови шкурой уходили торопливо двое мальчишек, поминутно оглядываясь, словно замороженные, один из них тащил непомерно большую дубинку; волок ее еще немного и потом бросил. И Гришук тоже повернул, пошел назад, ко двору, чувствуя все сильнее за спиной большую умолкнувшую пажить; заторопился, залез по колена в какую-то заплывшую снегом лощинку и стал выбираться, оставляя позади себя зимние колонки следов. И оттого, что выбирался он медленно, а все ушли с пажити и даже мальчишки успели отойти далеко, и еще оттого, что невдалеке лежали мертвые собаки с вытянутыми закосневшими лапами и вдавленными в бурый снег головами, он тоскливо пугался, и все в нем немело от какого-то недетского одиночества, такого же пустого, как и тогда, когда эти собаки катали и рвали его на косовой дороге...

Он выбрался наконец на дорогу и направился было к проулку, поскорее домой. Но ему мешало что-то сделать так, потому что он видел, как у двора Харина собралась толпа и не расходилась. Там что-то неладно было, и он понял — Лютый еще жив. Но не то чтобы обрадовался этому, а просто ему показалось, что там может по-иному все быть, и пошел туда.

Харин только что пришел с работы. Он стоял обочь всех, засунув руки в карманы кургузых ватных штанов, и его красное, как у многих белобрысых, лицо и маленькие пронзительные глазки медленно и неотвратимо наливались неприязнью, и он уже не давал себе труда скрывать это.

— Слышь, да брось ты ломаться, што тебе, не один черт, как мы его оттуда выковырнем, — говорил Поньрин, общнически обводя всех насмешливыми и дерзкими, после недавнего азарта, глазами. Он будто торговался. — Ну, пульту я разок, крыша, чай, не обвалится. В целости, говорю тебе...

— Не велю я тебе стрелять в катухе, не проси. — Харин отчужденно отвернулся, зябко повел плечами. — Вас только допусти — вы и в избу попрете, шленды непутевые. Ни страху божьего, ничего... делом бы лучше занялись.

От покровительственных, будто походя, поньринских спросов (ты, мол, хоть и хозяин тут, а ради обчего дела подвинься) он все больше злился, прямо-таки волком глядел.

— Ладно-ть, Петрович, что уж... Дай нам этого, сдьмова, добить, мы и уйдем, — примирительно, с малой долей заискивания сказал Боборыкин. Он удовлетворенно отдувался, торжествовал. — Зачин хорош был — дело за кончинами. Позволь, это самое...

— Сдьмова?! — Харин даже побледнел. Он и не предполагал того, что было на пажити. — Да вы что это... Ну! — сказал он, помолчав и не зная, что еще крикнуть или сделать. — Да-к вы что ж эта, душегубы, — тихо, совсем тихо сказал он, и растерянность никак не могла сойти с его отекавшего враз, бесформенного сейчас лица, — бога забыли, да?

— Да будет тебе! — неожиданно крикнул Поньрин, и губы его плаксиво дернулись. — Мы ж не кого-нибудь — детишек это... оберегаем! У самого — трое, а туда же... Разум надо иметь.

Харин растерялся еще больше, даже глазами сморгнул; и потом, словно за соломинку хватаясь, выговорил:

— Не велю стрелять... катух вам не пажа. — Он старался, чтобы это вышло у него по-хозяйски твердо, но голос сорвался, подвел; и он почти выкрикнул Поньрину в лицо, уже изображая твердость: — Только стрельни у меня, подлюка, испробуй!..

Топорцась от гнева, Харин повернулся, кольнул людей злыми, недоверчивыми глазами и зашагал, не вынимая рук из карманов, к дому. Подошел к невысокому заднему крыльцу, обернулся и высвободил руку, погрозил пальцем.

— Только стрельни, кровопроливец! Иуды!.. Грех этот вам... он не отмолится!

И, помедлив и обеда всех зажегшимся откровенной ненавистью, взглядом, плюнул и скрылся в сенях.

— Ну вот, — сказал Поньрин насмешливо, с еще не остывшей сварливостью, — вот и свяжись с такими хмырями. Они рехнулись, а ты их слушай. Не надо бы его ждать и хозяйки не спрашивать. Не стреляли, а теперь вымани его, туды их...

Конюх стоял тут же, все глядел вслед Харину, а при последних словах Поньрина взял из послушных рук соседа вилы, давнул их на излом, проверяя прочность, и молча пошел к двери

сарая, где в дальнем углу за деревянной перегородкой засел Лютый. Первая попытка с налету взять матерого пса на вилы обошлась одному мужику не бог знает как хорошо: Лютый, чудом миновав выставленные вперед вилы, в темноте сбил его с ног, прокусил руку до кости и снова убрался в свой угол.

И теперь вся толпа стояла вокруг, с суевением и любопытством поглядывая на темный дверной проем сарая, ждала чего-то, а может, и растягивала зрелище, находя удовольствие в приподнятой суете этой, в разговорах, предложениях и ожиданиях, тем более что пес теперь никуда от нее не денется...

Пантелеев, щуря глаза, заглянул в сарай, постоял, привыкая к темноте, невнятно выругался. Стоявшие во дворе сгрудились у входа, кое-кто тоже пытался заглянуть туда. Разговоры как-то само собой стихали, наступала выжидающая тишина, и Гришука опять стала схватывать за сердце та давешняя тоска, ожидание боли — такое, что захолонуло все внутри: будто бы его били, мучили, а вот теперь, передохнув, вознамерились снова... Он заработал локтями, головой, проталкиваясь боком в плотной толпе к середине. Кто-то ругнул его, а один из взрослых приподнял его суконый малахай и, проговорив с жесткой веселостью: «Эт-то те в науку», — дал щелбана — не больно, но обидно. Гришук уже не обращал внимания на такие мелочи, а все лез и лез, ему надо было обязательно пролезть.

Когда он очутился вблизи двери, Пантелеев как раз шагнул туда, вглядываясь в темноту и выставив вилы; и Гришук отчетливо услышал, даже почувствовал всем собой, как медленно, низко, с тихой угрозой зарычал Лютый в глухом своем углу. Конюх вызывающе тряхнул вилами, перехватываясь удобнее, на мгновение оглянувшись назад, показав бледное, с резко зачерневшими странными глазами лицо; и в них, в лице и в глазах этих, еще жила какая-то последняя усмешка страдания и подневольности, и неожиданная затравленная злоба на оставшихся снаружи, будто бы выбравших и пославших его убивать.

И Гришук все понял. Он вспомнил вдруг, как позавчерашним летом он и Кузька играли на проросшем яркой плотной муравой широком подворье. Играли с тремя вислухими пузатыми щенками, что принесла Кузькина Косматка. Щенята (недели три от роду, с недавно прорезавшимися глазами) смешно, боком трусили по двору, путаясь неуклюжими толстыми лапами в траве и тыкаясь мягкими мордашками во что ни попало, тонко по-детски тьякали от восторга и шевелили из стороны в сторону бархатистыми, еще вялыми хвостами. Кузька, когда сер-

дился, легонько постегивал их прутиком; и тогда они обиженно и недоуменно повизгивали, неловко вертели на месте, не боясь замахнувшейся руки, потому что не знали, что с ними делают и кто это делает. Злая от их бестолковости, Кузька стегал их больнее, иногда просто жестоко; а они лезли к нему и под него, спасаясь от чего-то быстрого и большого, чего даже не успевали рассмотреть, и ему приходилось, сидя на корточках, отодвигаться, а они все бежали, лезли под него... Потом одного щенка отец Кузьки оставил, а тех утопил (просто побросал их за ненадобностью в крути на середину реки, и они, взясь, неясно шевелясь в воде, всплыли раза два мокрыми шкурками наверх и пропали в веселом, сверкающем бликами перекате). Отец держал за шиворот взбесившегося Кузьку, растерянно говорил: «Да ты што... ты што, рехнулся никак, змееныш?! Ты ж мужик — елки зеленые, а?..», даже испугался; а Кузька рвался, дико, по-взрослому ругался и искусал и раздирябал ему всю руку... Кузька уже через неделю ожил от побоев и бегал как ни в чем не бывало; Гришук, сразу кинувшийся тогда к перекату, ничего не нашел там. А вот теперь дядя Пантелеев идет, не хочет, но идет убивать Лютого — зачем, за что?! — а Лютый рычит, уже не сдерживая рвущейся к двери угрозы, готовый оборвать этот хрип последним прыжком.

Гришуку кажется уже, что это хриплое, исходящее невыносимой злобой рычание чем-то схоже со взглядом конюха: в нем и прощальное, до предела натянутое отчаяние, и ненависть ко всему безысходная — такая, что от нее немеет все внутри у Гришука, отмирает, отваливается накипными пластами — и остается одна голая, стынувшая от бесприютности и беды душа, и уже и она не терпит... И он, Гришук, на все согласен, и что бы он только не сделал — лишь бы освободиться, вылезти, как из ямы провальной, из этой ненависти...

Он поднимает глаза, даже слез не стыдясь, на людей. Все они, подавшись телами, головами, глазами, подавшись к сараю, смотрят и ждут с каким-то язычески темным и жадным интересом — ждут, слушают чью-то последнюю песню ненависти и боли, как слушают невидимое: уставившись в черноту дверного проема, в старую слезящуюся солому крыши, в ростепельное, прогорклое дымами последнее для Лютого пространство над нею; и в глазах их нету даже и тени той злобы, отчаяния того и ненависти, чем исполнен сейчас весь свет и вся Гришукина жизнь — только темное непреходящее любопытство к чужой смерти. «Да они ж ничего, ну ничего не понимают, — медленно, обливаясь страхом уже за людей, ужасается

Гришук и идет к зевающей черноте двери, где горбится настороженная спина конюха и оперенели глазами и позами два мужика у косяков, тоже с вилами. — Они ж не знают, что делают, совсем не понимают. Как же так?! Я знаю, а они вдруг нет, не знают... как же так?!»

— Ты эт что? — спросил кто-то недоуменно, даже не пытаясь остановить его; спросил участливо и одновременно равнодушно, как вообще привыкли обращаться к детям. Гришук остановился, застигнутый врасплох, неловко и замедленно, будто во сне, поворачивая к нему голову, не узнавая Боборыкина. На него смотрело равнодушное, так и не сбросившее маску голодного любопытства, потерявшее былую подвижность лицо человека, глаза его пустые, ничем — и Гришуком тоже — не занятые. Только мгновение смотрел Гришук в эти глаза, узнавая уже в них и Понырина, и Кузькиного отца, и ненависть Лютого и свою; и кинулся в сарай — туда, где Лютый, где мука и ненависть свили свое ужасное земное гнездо...

Никто не то чтобы остановить — не успели даже слова вымолвить, только запоздалое «Ах ты!..» повисло над толпой; а Гришук, силно не то выдохнув, не то всхлипнув, кинулся мимо конюха. Мелькнуло рыхло-белое в темноте лицо Пантелеева, его ничего не понимающие глаза — и Гришук полетел через подставленную ногу, головой вперед, куда-то в кучу навоза и дальше. Конюх, коротко выдохнув ругань, бросил вилы, метнулся к нему, поймал за полу телогрейки и с усилием рванул назад. Гришука ударило о косяк, и только потому он устоял на ногах, и опять что-то бросило его туда, где Лютый... Хрипя «Я т-те!..» и растопырив руки, конюх снова поймал его. Гришук рвался и отбивался, а Пантелеев, отстраняя лицо от кулаков, потряхнул его в запале так, что стеганка затрещала, и поволок к выходу. И тут от загородни на них, копошащихся, метнулось и обрушилось тяжелое хрипящее тело собаки. Последним движением Пантелеев толкнул пацана в дверь, а сам свалился под тяжестью пса на землю, закрываясь локтями от жаркой слюнявой пасти, подставляя спину. Лютый отпрянул, дав ему

упасть, и тут же насел, расплзаясь лапами, вцепился в плечо, а потом выше, добираясь до шеи — уже молчаливо, вздыбив шерсть и упираясь так, что под когтями его с треском поползла, раздираясь, ткань телогрейки. Конюх замычал, выгибаясь из последних сил и вжимая голову в плечи, не давая горло, и как-то надорванно, отрывисто вскрикнул.

В этот момент опомнившийся Боборыкин, изловчившись наконец, несильно, будто дразня, пырнул неистово заочевеншую на Пантелеева собаку. Лютый вспрынул, оторвался от конюха и, вытянув оскаленную морду и прижав к черепу уши, рванулся на него. Подоспел Витяня; и двое вил, задевая друг за друга и звеня от этого, с податливым толчком вошли в тело собаки. Лютый хрипел, судорожно вытягивая задние лапы, и глаз его остекленело-гневно, неподвижно был устремлен не на своих губителей, а в серый, скатывающийся в тягучие сумерки день над их головами...

Его так и вынесли на вилах, еще подрагивающего пегой, линияющей шкурой, с волочившейся по утоптанному сырому снегу крупной головой, вынесли бестолково и торопливо, как муравьи таскают свою добычу, на зады и бросили там на дорогу. Во дворе остались трое. На нижней ступеньке крыльца стоял Харин, глядел сквозь открытые ворота на людей, столпившихся у дороги. Толпа расступилась, и оттуда выбежали, пригибаясь от усилия, Кузька и еще какой-то парнишка, таща на проволоке то, что было недавно Лютым, — на пажить, к тем собакам... Гришук сидел на колоде с расцарапанным лицом. Он не плакал, молчал, только изредка поднимал пустые и усталые, озабоченные чем-то своим глаза на Пантелеева. Конюх курил, затягиваясь часто и глубоко, и все пожимал неловко правым, разодранным до ваты плечом, и оглядывал двор, будто что потерял на нем. Гришук знал, что ему надо бы уйти сейчас подалее от людей, но теперь было все равно. И он сидел, потому что устал очень, и еще у него болел бок — так болел после толчка конюха, что даже дышать больно было. Пусть они сами все уходят, ему будет в сто раз лучше, думал он, в тысячу раз легче ему будет.

НАДЕЖДА КОЖЕВНИКОВА

КОНЦЕРТ

РАССКАЗ

...Профессора встречали. Молодой человек в очках подхватил его чемодан, а приветливо улыбающаяся дама взяла профессора под руку и повела по длинному перрону к выходу.

Профессор тоже улыбался. Этот город был ему знаком — сравнительно небольшой, но давно переставший быть тихим южнобаварский город. Бульжная мостовая, крытые черепицей старинные дома, а рядом — громады из стекла и бетона. А сколько здесь было машин! Втиснутые в узкие улочки, они двигались сплошным потоком, многоместные, длинные и крохотные, как инвалидные коляски. Профессор даже усомнился, возможно ли пересечь это механизированное стадо, перебраться на другую сторону шоссе? Но сопровождавшая профессора дама бесстрашно перевела его по переходной «зебре» к стоянке такси, заботливо поддерживая под локоть.

Профессор улыбался. Смотрел направо-налево из окон автомобиля: да, многое переменялось с тех пор. Очень давно он здесь не был...

Гостиница называлась «Глория». В центре, средней руки. Номер недорогой: не ванна, а душ, не полированная мебель — пластик. Но веселенькие занавески на окнах и цветы — вполне симпатично, уютно. Профессор раскрыл портфель, вынул термос, пластмассовый подносик, банку растворимого кофе, клетчатую полотняную салфетку; разложил все это на широком подоконнике, заменявшем в номере стол. У профессора были свои причуды. Путешествуя, он возил с собой повсюду еще и деревянную собачку, сделанную довольно коряво одним деревенским плотником. Эта собачка как бы олицетворяла для профессора домашний уют, то, что вот эта комната или любая другая станет временным его пристанищем, и он не намерен жертвовать своими привычками, в каком бы городе, стране ни оказался.

Из книги «Человек, река и мост». © Издательство «Советский писатель», 1976 г.

А привычек у профессора за его шестьдесят с лишним лет накопилось немало. Ему приходилось часто разъезжать, и, возможно, по этой причине, он быстро обживал гостиничные номера, легко ориентировался в незнакомой местности. Любопытство его к новым городам, к жизни их обитателей было весьма умеренным — профессор столько уже повидал! В его почтенные годы впечатлительность могла оказаться даже вредной, и профессор искал вокруг не новизны, а скорее сходства с чем-то уже известным.

Номера в гостиницах были, в общем-то, однотипны, то есть их всех роднила стоимость. Профессор был не то чтобы скуп, просто привык обходиться малым. Роскошествовать он считал дурным тоном. Рестораны, к примеру, были ему ну просто-таки ненавистны. Ненавистна сама обстановка в них, показная, неестественная.

Нет, профессор предпочитал кафе, где было куда демократичней и все спешили, занятые только собой. Профессор съедал свою диетическую котлетку без гарнира, выпивал стакан молока и уходил вполне удовлетворенный. Бутерброд с сыром или ветчиной, завернутый в пергаментную бумагу, он клал в портфель, чтобы вечером у себя в номере спокойно поужинать. Вкусы у профессора были совсем непритязательные. Его костюм не соответствовал никакой моде. Профессор пренебрегал советами портных — это был именно его костюм: пиджак типа френча со множеством карманов и довольно узкие брюки. Профессору так нравилось, так он считал для себя удобным. Да, еще шляпа — только профессор такую носил. Его можно было узнать издали: узкоплечую фигуру в чудной, сплюснутой блином шляпе и длиннополом светлом плаще. В одежде, да и манерах профессора была какая-то чрезмерная аккуратность, педантичность почти комическая — как он поправлял мизинцем свои очки в тонкой металлической оправе! А уголок белого, будто картонного, платка в карманчике его френчеподобного

костюма! Казалось, профессор нарочно сам над собой подсмеивается: так клоуны в цирке проделывают свои трюки с полной серьезностью, тогда выходит особенно смешно. А может, и нет, профессор вовсе не находил ничего в своем поведении забавного, никого и не собирался смешить. Просто он родился больше шестидесяти лет назад, а за это время столько всего переменялось во взглядах людей, в привычках их и во вкусах!..

Когда к профессору обращались, он слегка наклонял набок голову, изображая вежливое внимание. Но взгляд его серых, спрятанных за толстыми стеклами очков глаз был рассеян. Профессор о чем-то своем думал и никого туда, к себе, не пускал. Так уж сложилось: профессор жил один и привык, давно привык к своему одиночеству. Когда-то у него была семья, жена и дети, но он об этом ни с кем не говорил. Не мог говорить. А что про себя думал — его дело...

Профессор шел по булыжной мостовой, скользкой от недавнего дождя, и старательно глядел себе под ноги. Люди его не интересовали — какое ему было дело до них. Чужие люди, чужие судьбы, и город этот — тоже чужой. Хотя он и бывал здесь — да, давно это было...

Этот город. Булыжная мостовая. Домики, крытые черепицей. Занавески в окнах. За занавесками — люди, их скрытая от посторонних взглядов жизнь. И тогда обитатели этих домов прятались за крахмальными занавесками, не знали, делали вид, что не знают, о том, что творится вокруг. А не знать было нельзя. Слишком громко орала репродукторы и чеканили по мостовой солдатские сапоги.

Этот город... Профессор шел не поднимая глаз, не желая видеть, знать, что сейчас за этими занавесками. Не для того он приехал сюда — не вспоминать.

Горничная в гостинице сообщала профессору, что в его отсутствие ему звонили, сказали, позвонят позднее. Профессор слушал, наклонив набок голову, по-птичьи. Горничная была пожилая, наверно одних с ним лет. И возможно, она тоже жила в этом городе тогда. Мыла, терла свои окна, крахмалила занавесочки, в то время как ее муж или брат чеканили гулко шаг — и нельзя было этого не слышать...

— Благодарю вас, фрау, — сказал профессор и пошел по длинному гостиничному коридору мимо ряда высоких белых дверей. Открыл ключом свой номер, вошел: на подоконнике, заменявшем здесь стол, его ждала деревянная собака с желтым пуговичным глазом. Собака символизировала скромные представления профессора о домашнем уюте, тепле, покое.

Зазвонил телефон, профессор произнес несколько фраз, в основном «да» и «нет». Встал, надел свой длинный светлый плащ и вышел.

А город, хотя профессор и не желал замечать ничего вокруг, был очень красив — старинный немецкий город. И при взгляде на эти средневековые улочки, узкоплечие, островерхие дома — точно иллюстрации к давно-давно знакомой сказке — даже самое бедное воображение оживало. Но профессор шел хмуро опустив глаза. Он слишком хорошо знал этот город, и ему было что здесь вспомнить — не по туристским справочникам. Он помнил расположение домов, улиц, поэтому самым кратчайшим путем вышел к собору. И только тогда взгляд его метнулся вверх. Профессор замедлил шаги: да, это была достойная встреча.

Пустынная площадь и громада собора. Собор, казалось, разросся, как дерево, гигантский платан, кряжистый и мощный, не подчиняющийся никаким ухищрениям садоводов. Его возможно было только спилить. Такой собор не мог быть задуман как центр аккуратненького, почти игрушечного немецкого города, — наверно, он вырос сам по себе. Много столетий назад горожане, быть может, проснулись утром и увидели на площади глыбастые его стены. Удивились? А может, даже и испугались? Кто из их современников мог замыслить такое? Кто трудился над его воплощением? А жил, значит, в уютном игрушечном, островерхом домике. И никто из соседей до времени не догадывался, что вынашивает он в своем воображении собор. Ах уж эта неприметность гениев! Многих, многих она обманывала и потом, внезапно, удивляла: подумать только, такое смог!..

А может, собор этот возник после вулканического взрыва? Сталактитовые сказочные пещеры — их ведь тоже никакой архитектор не создает. Природа сама выдумывает. Ну, а собор?.. Профессор стоял у его подножия, медля, как бы не решаясь подняться по плоским широким ступеням лестницы.

Собор был пуст, и шаги профессора по каменным плитам гулко отдавались во всем здании. Служитель поклонился и молча указал на низкую дверь. По винтовой, скрытой в стене лестнице профессор поднялся на хоры. Перед ним, тускло светясь матовыми трубами, нависал орган. Профессор стоял совсем крохотный рядом с такой машиной, стоял, будто забыв, зачем сюда пришел. Взгляд его серых, в старческих набрякших веках глаз был слепо-рассеян. О чем-то профессор думал, чего-то ждал... Потом, сняв плащ, пиджак, остался в одной рубашке, перехлестнутой узкими подтяжками. Раскрыл створки органной кафедры: тройной ряд мануалов, справа и слева регистровые ру-

коячки, кнопки, рычаги — точно пульт счетно-вычислительной машины. Странное сочетание: эта пультовая аппаратура и барочная пышность органа.

Профессор сел перед органом на длинную скамью...

Известно, что не бывает двух одинаковых органов. Каждый заказывается специально для определенного помещения с учетом именно его акустических и архитектурных особенностей. Клавиатур на органе может быть и две, и три — до семч доходит. Поэтому концертирующий органист должен принаравливаться каждый раз к новому инструменту. Это не фортепьяно, где всегда строго определенное количество клавиш, определенное у них звучание, и никаких неожиданностей в самой технологии игры исполнителя не ждет. На органах все иначе. И поэтому перед выступлением органист должен ознакомиться с инструментом, побыть с ним ну хотя бы дня два. Как дирижер с новым оркестром, состав которого в одном случае камерный, из двадцати музыкантов, а в другом — симфонический, сто двадцать человек. Приходится как бы заново выучивать произведение, иначе его инструментовать — в зависимости от состава органных труб, переосмысливать регистровку. На каждом органе — своя звуковая картина, своя палитра тонов, оттенков, и от мастерства исполнителя зависит, как все это использовать. Каждый регистр — особый тембр — особый инструмент: флейта, гобой, к примеру. Органист может соединить в любых комбинациях регистры разных мануалов и pedalной клавиатуры — в этом его искусство. Мануалы органа внешним видом, правда, напоминают клавиатуру фортепьяно, но пианист, прикасаясь к клавишам, создает звук, в то время как органист своей игрой вызывает скрытые в органе голоса.

Какие голоса ожидали профессора здесь? Он вглядывался в рукоятки регистров, уже слыша, зная, как это должно звучать. Много, много звуков хранила его память. Но, к сожалению, не только музыка, но и люди, их лица вспоминались профессору. Он разгонял эти видения, отмахивался от них, как от дурного сна, но именно музыка подсказывала ему эти воспоминания. Потому что даже там, где для музыки не было и не должно было быть места, его заставляли играть.

...Комендант концентрационного лагеря, обер-лейтенант Регель, сам когда-то неплохо играл на фортепьяно. Правда, хотя и был в то время еще и очень самолюбив, понимал, что недостает ему — как это говорят? — «небесного дара». А что это, в самом деле, такое, черт возьми? Регель усердствовал, но лицо учителя

выражало брезгливую гримасу. Да, читалось на этом лице, надо жить, надо зарабатывать на жизнь, вот и приходится мучиться с такими 'бездарями.

Регель на всю жизнь запомнил это лицо. И ощущение полного своего бессилия, униженности, испытанное им за роялем. Он все понимал, готов был выполнить любое указание, но музыка ускользала от него. Как в глупой игре с подвешенным на нитке яблоком: лови губами, зубами, но руки связаны за спиной.

Руки... Когда Регель их ставил на клавиши, ему было стыдно своих пухлых коротковатых пальцев, негибкости, немзыкальности их. Но по прошествии многих лет, Регель перестал своих рук стыдиться. Любовно ухаживал за ними, подпиливал ногти, полировал. Регелю не нужно было больше насиловать свои пальцы музыкой — другие у него появились задачи, другая цель. Сидя в мягком удобном кресле, запрокинув мечтательно голову, он слушал Баха. Перламутрово блестящие ногти на его руках: не теряя времени даром, Регель полировал их кусочком замши. А за роялем бритоголовый, с землистым лицом человек играл Баха, Генделя, Моцарта. Его жалкая, как бы марионеточная тряпичная фигурка выпрямлялась за инструментом, будто от каждого прикосновения к клавишам силы ему прибавлялось. Цепкие пальцы бегали по клавиатуре, вдавливаясь с неожиданной силой, добывая из фортепьяно органной мощи звук. Да, именно так нужно было играть великого Иоганна Себастьяна. Регель слушал: он действительно мог гордиться успехами своими по службе. Сверстники его в основном все только подчинялись, а он вот уже и приказывать право имел. Хотя, конечно, надо было быть очень, очень осторожным: зависть, недоброжелательство, хищность так называемых «друзей». Но если уж не позволять себе даже маленькие слабости, как же тогда жить? Регель знал, в соседнем концлагере комендант увлекся живописью, и заключенные, способные изобразить его самого и его фрау, пользовались особым расположением. Ну что же, а вот Регель музыку любил. И музыкантов, попавших к нему в лагерь, он из массы общей выделял. Ах, как давно Регель не бывал в концертах! Никому, естественно, не признаваясь, он мечтал о привычной штатской одежде, запахе духов, шелесте программки — об этой чудесной праздничной атмосфере концерта! Но приходилось довольствоваться игрой бритоголового музыканта — это Регель его спас. Иначе гнить бы ему давно. Но как играет!.. Регель слушал, ощущая даже временами, как он считал, благородную зависть. И вспоминалась молодость, те, прежние юные годы, и его, Регеля, в то время

наивное непонимание будущей своей судьбы. Как он себя недооценивал!

Теперь дано было ему все. Полное всевластие. Казнить и миловать — все мог. Но сыграть вот так — да, Регель знал! — не получилось бы. И, сидя позади бритоголового музыканта, он настолько забывался, что сам себя — теперешнего — терял. Его лицо обрело какое-то странное голодное выражение — его холерное, сытое лицо! Закушенные губы, как у мальчишки, задумавшего недобрую шалость. Но глаза холодно-стылы — сегодняшние его глаза. Тогда, в детстве, он был еще совсем слаб и вынужден был скрывать свою зависть. И следил за выражением лица учителя — как неприятно было Регелю оно! Не только собственный восторг это лицо выражало, но и призыв, требование присоединиться, радость его разделить. Расслабленная блаженная улыбка сухих губ учителя, взгляд заговорщика, мол, слушайте, слушайте, как играет, каки И Регель принуждал себя к ответной улыбке: понимаю, конечно, понимаю — талант... Какое унижение! От него даже соперничества не ждали, он, значит, даже и приблизиться к такой черте не мог. А ведь он любил, действительно любил музыку. И понимал — нутром чувствовал, как надо играть. Но так это же еще тяжелее: тупого самодовольства не было в нем, чтобы не оценить, чтобы не обжечься изнутри завистью.

Но кому и в чем он теперь мог завидовать? Чего ему вообще-то сейчас можно было желать? Не музыка вершила миром, нет, это Регель понял. Но мама хотела видеть сына своего музыкантом, а он, Регель, надежд ее в этом не оправдал. Бедная мама! У нее были такие старомодные представления и такие старомодные вкусы! Подумать только, ей нравились мазурки Шопена, в то время как существовал Бах...

Бритоголовый человечек без лица и без голоса — само собой, Регель никогда с ним не говорил — играл Баха. Долго. И с каждым новым произведением — Регель это видел, чувствовал — что-то смещалось у человечка в голове. Он, вероятно, даже забывал, где и зачем находится. Может, ему зал какой-то концертный грезился, слушатели, эстрада, и будто не полосатая на нем одежда, а фрак... Играл и уходил — это даже по спине его выпрямленной чувствовалось, — уходил куда-то из-под власти Регеля — туда, куда его музыка звала. Вот выстрелить ему в спину, так, наверно, и в предсмертное свое мгновение не поймет, удивится, не успев еще вернуться оттуда, куда завела его музыка.

Музыка... Цепкие пальцы будут сжимать аккорд из последних сил, пока тело, тряпичное

тело марионетки, не обмякнет — свалится со стула на пол.

Музыка... Регель прикрывал глаза: концертный зал, отражение нарядных дам в высоких зеркалах, запахи, от которых даже голова кружится, и музыкант на сцене — кому можно было признаться в таких мечтах?! Да, Регель действительно очень любил музыку.

...Итак, органист своей игрой вызывает голоса, скрытые в инструменте. И хотя клавиатура органа внешним видом и напоминает фортепьянную клавиатуру, но от силы удара или нажима пальцев органый звук перемениться не может. На органе звучит то, что держат пальцы. Принципиальное различие с механизмом фортепьянной педали, искусственно продлевающей звук. Звук же на органе бесконечен. Он может заполнить собой любое помещение, концертный зал, собор, — звук, в мощи и красоте которого уже определенное психологическое воздействие. Величавый, тянущийся, долгий, он распекается под сводами, уходит под купол, и, слушая, ты тоже будто приподнимаешься. В особенности когда слушаешь Баха...

Профессор взял аккорд, и все помещение собора заполнилось мощным, изнутри распираемым звучанием хора Иоганна Себастьяна Баха. Карандашиком на нотах профессор расписывал цифровые обозначения регистров — все страницы были испещрены такими пометками, сделанными разными цветами: синим — Домский собор в Риге, зеленым — церковь в Париже, коричневым — Малый зал консерватории в Москве. Десятки, сотни городов — мно-о-го профессор поездил.

— Хороший инструмент, — бормотал он про себя. — Очень хороший. Но как это внизу звучит? Насколько я помню, басы там более мощные, чем здесь, кажется. А третьих педалей нет, так... Если этот регистр попробовать? Нет, не уловится. Ну а так? Допустим...

Может, от старости, а может оттого, что жил совсем один, профессор часто сам с собой разговаривал. И если это случилось на улице, очень смущался: не услышал ли кто? Но здесь, в соборе, никто не мог его подслушать. Он говорил, рассуждал об органе вслух вполне внятно. Орган, выполненный в стиле барокко, был пышно изукрашен, красив. Обычно они так и задумываются вместе, зал и орган, отвечают стилю одной эпохи. Современные органы по формам своим просты, лаконичны, соответственно нынешней современной архитектуре. А этот был по-барочному роскошен. Роскошно все внутреннее убранство собора: долгие годы трудились здесь мастера. Скульптурная лепка потолка, стен даже утомительна своей обиль-

ностью. В глазах рябило от этой позолоты, резных ангельских головок, гирлянд. Но органист ничего этого не видел — сидел к залу спиной. А зал, посетители собора слушали его игру затылками — взгляды были обращены на алтарь. Такова традиция: не могли же они спиной к алтарю обратиться!

Гастролеры, приезжающие из стран, где органы в основном находятся в соборах, испытывают неожиданный трепет, когда им предстоит играть в концертных залах: пройти под взглядами людей от кулис к инструменту! — Без практики эти несколько шагов по сцене оказываются мучительно трудны. Ведь там, в церквах, в соборах, органист скрыт на хорах, — он привык быть невидимым. Казалось бы, чисто внешние моменты. Но они влияют и на содержание, на суть исполнительства, психологию и артиста и слушающих. Таким образом, существуют два исполнительских стиля: церковный и концертный. Когда артиста слушают затылками, когда священную тишину храма не дозволено нарушить аплодисментами, не может быть, само собой разумеется, того контакта между исполнителем и аудиторией, какой возникает в концертных залах. Музыкант на сцене лиц своих слушателей не видит. Но каждой клеточкой своего существа знает, чувствует их внимание, их взгляды.

Профессор встал, вынул из портфеля черные лаковые ботинки. Сменил свои расхожие на эти, парадные. Надо было их на новом инструменте «обиграть». Проверить ощущение в них на клавиатуре. Орган — единственный инструмент, на котором играют ногами. Не нажимают педали, а именно играют. Большие партии, пассажи. Так и говорят: ножная техника органиста. И вот профессор сменил расхожие свои башмаки на эти, парадные. Ну и что, что из зала они не будут видны. Ему это самому приятно, безразлично для настроения. Концерт ведь праздник. Трудный, отнимающий силы, но праздник. Если ты — артист.

В гостиницу профессор вернулся под утро. И хотя предупредил портье, тот, открыв дверь, оглядел его весьма неодобрительно. Подумать только, пожилой человек, а является в шестом часу утра. Но портье не был посвящен в специфику работы этого постояльца. Не знал, что органисты делятся на «ночных» и «предрастветных» — по времени своих занятий. Ведь дома такой инструмент просто-таки не уместится, не говоря уже ни о каких иных причинах. Значит, остаются лишь концертные залы, где днем и вечером проходят репетиции и выступления. Время занятий на органе начинается после 22—23 часов. Уходит публика, прибирают помещение, гасят огни — вот тогда и яв-

ляются к своему инструменту органисты. В пустом темном зале с органом один на один. А потом, очень ранним утром, когда в городе все еще спит, — возвращение домой. Ну а если концерт должен состояться в соборе, то репетировать, естественно, возможно лишь по окончании службы.

Профессор вернулся в гостиницу очень усталым, несправедливо было его осуждать. А впрочем, он и не заметил в лице портье осуждения — научился, когда не хотел, вообще не видеть лиц. Он был очень скрытным, профессор, точнее, сделался таким за последние годы. А когда-то, много-много лет назад, друзья находили его даже излишне доверчивым: хрупкий, худенький, белоголовый, с почти девичьим мягким, нежным овалом лица, только взгляд серых светлых глаз был и тогда не по возрасту серьезным. Музыка взрослит людей. Открывает им то, что за пределами обычной повседневной жизни.

Музыка, искусство не воздвигает никогда зримой финишной черты — только приближение, приближение. И оно может длиться всю жизнь. Но иной раз случается озарение, когда кажется, ты на пороге открытия. Необыкновенная властная сила возбуждает, влечет за собой, пульсирует в висках, в кончиках наэлектризованных пальцев: ты и музыка, ты и зал. Ты и слушатели. Ты — один. Потому что нельзя стать творцом, не пережив, не вобрав, не растворив в себе всю боль, всю печаль одиночества. Оно, одиночество, возможно, эту действительную энергию и дает — энергию вдохновения. Как глас вопиющего в пустыне — в надежде, что все же услышат, поймут. Ну не завтра, так через десять, сто лет. Без ожидания такого отклика, эха подлинное творчество невозможно.

Вот поэтому и был всегда серьезен взгляд худенького светлогоголового юноши, в то время еще не профессора — просто жителя одного из старинных европейских городов, славного своей историей и культурой. И был у него дом, семья, жена, тоже еще совсем молодая. Ни одной фотографии ее не сохранилось. Он ушел из своего дома без ничего, не ожидая, что это окажется вечной разлукой. И только пальцы осязанием своим сберегли легкость сухих ее волос, прохладность кожи, когда при прощании он, точно взрослый больному ребенку, положил ладонь ей на лоб. «Не волнуйся, — сказал, — я скоро вернусь».

Скоро... Прошло почти полвека. Она, жена его, не состарилась. Он помнил ее, как в тот последний день, совсем-совсем молодой. И другой она не стала — не успела стать. Он пошел, сторбился, а она оттуда, из прошлого, гля-

дела на него, ему вслед, доверчиво, ожидая: «Ты скоро вернешься?..»

Бессонница... Особенно страшны в ней пред-
рассветные часы, когда так остро чувствуешь
свое одиночество, бессилье, — все вокруг спо-
койно, благодушно спит. Не дозовешься, не до-
кричишься, совсем один. Ну будто вымерло...
Профессору это состояние было знакомо. Но он
научился перебарывать его в себе. Ночью с ним
был орган, Бах, музыка. А потом он шел по
городу пешком и видел, как, будто из разбитой
скорлупы, вытекает желток — солнце. И зяб-
ко, тревожно: вдруг этот город заснул навсе-
гда? Вдруг никто никогда в нем не проснется?..

Улицы, дома, парки — все обезлюжено.
Шаг за шагом, километр за километром — всю
землю пройти и ни одного человека не встре-
тить. Подавить в горле ком, усилием воли за-
претить себе бежать, бежать без оглядки, с ис-
коверканным немой воплем лицом — ужас,
ужас!.. А там, за углом, ждет с погашенными
фарами автомобиль, щегольские черные мун-
диры, отрывистая, как лай, речь. Если все лю-
ди погибнут, эти появятся снова...

Профессор вдохнул всей грудью холодный
осенний воздух. Он теперь уже ничего не боял-
ся. Только бы не вспоминать.

...Когда его в первый раз ударили в лицо,
он даже боли не почувствовал — удивление.
Так, наверно, захлестнутый волнами пловец не
верит, что может погибнуть: в сознание, сведен-
ное уже судорогой страха, не вмещается собст-
венная смерть.

Руки потянулись к лицу: нет, не для защи-
ты — проверить, так ли это, не страшный ли
сон. И омерзительная влажность, запах стран-
ный, где-то в самых тайниках знакомый, — за-
пах собственной крови. Он облизал губы и сно-
ва вспомнил этот вкус. Будто страшная какая-
то сила на много столетий назад его отбросила:
он сжался, его, прежнего, больше не было. Но
родилось другое: неподвластное рассудку же-
лание выжить, во что бы то ни стало —
жить.

А после предстояло к себе самому вернуться.
К себе самому? Его тело, принявшее все удары,
стало безвольным, как у марионетки: А мозг,
а сознание казалось мертво. Как и для чего
ему теперь было жить? Все вокруг — только
призрачные воспоминания, к которым, как на
другой берег реки, не перебраться: стой и
смотри... Он думал: лучше бы смерть. Тогда.
И ни к чему это воскрешение из мертвых. При-
родой оно никак не обосновано. Человеку по-
ложено жить один раз. Он — жил. Вышел од-
нажды из своего дома, сказал жене: «Не вол-
нуйся, я скоро вернусь». Но ведь теперь не
к кому было ему возвращаться, и никто его не

ждал. Но раз так, оставалось избегать каких
бы то ни было повторений. Тот дом уничто-
жен — другого не надо. Гостиницы — там жить.
И лиц не видеть. И города, страны. Все это
было, было! Нового, неожиданного не встретить.
И нечего ожидать.

Профессор и к прежнему своему инструмен-
ту не вернулся, и рояль оставил за той чертой.
Все надо было переменить. И уж если играть,
то на органе. Орган, так считал профессор, да-
вал возможность для сосредоточенности, само-
углубления, самопознания, как никакой другой
инструмент. Величавый его звук по самой при-
роде своей не подходил для вещей быстрых, бра-
вурных, какие увлекают порой, к примеру, пи-
анистов. Требуется время, чтобы органый звук
распространился под высокими сводами. Про-
фессор презирал суету, спешку, и, может быть
даже в силу возраста, ему не хотелось уже спе-
шить.

Если проанализировать свое состояние в тот
момент, когда слушаешь орган, убедишься, что
оно отлично от восприятия, скажем, скрипич-
ного или фортепянного музицирования. Все
грамотные музыканты знают, что играть Баха
с такой же подробной нюансировкой, как, на-
пример, Шопена, нельзя. Инструменты бахов-
ского времени по чисто техническим констру-
ктивным причинам лишены постепенности: сила
нажима на клавишу не усиливает звук. На ор-
гане только при переходе с одного регистра на
другой меняется краска: так называемая пла-
стовая динамика. И само собой понятно, что на
органе не сыграешь Шумана, с его импульсив-
ностью, или Скрябина, где все — обнаженный
нерв.

«...Клавир и орган являются родственными
инструментами, — писал один из первых иссле-
дователей творчества Баха И. Фогель. — Одна-
ко стиль и манера игры на этих инструментах
настолько отличны, насколько различно и их
назначение. То, что звучит и может на клави-
корде сказать нам нечто, ничего не говорит на
органе, и наоборот. Самый лучший клавирист,
если он недостаточно знает различие в назна-
чении и целях обоих инструментов и не умеет
чувствовать их, будет всегда плохим органи-
стом...»

Профессор эти цели и назначения своего ин-
струмента отлично знал. Могучий, рвущийся
из-под пальцев пафос творений Иоганна Себа-
стьяна, двойственность соревнующихся между
собой сил в его полифонии, слияние, смыкание
голосов, разводимых вдруг прихотливым орна-
ментом, — профессор чувствовал себя в такие
моменты всевластным, могущественным, будто
энергия, гений Иоганна Себастьяна каким-то
чудом передались ему. И где-то в глубине его

существа, из самых-самых недр поднимался, подступая к горлу, крик — ликующий, победный.

...Иоганн Себастьян сорвал с головы кудрявый в локонах парик и запустил им в невежественных, завистливых ремесленников, писавших на него доносы — «протоколы по делу органиста Новой церкви Иоганна Себастьяна Баха». Акт от 21 февраля 1706 года: «Мы ставим в вину Баху, что до настоящего времени он делал в хоре множество странных вариаций и примешивал в него такие странные тона, что собравшиеся были вследствие этого сконфужены. И если в будущем он захочет примешивать переходящий звук, то пусть придерживается этого до конца и не переходит быстро на что-нибудь другое, или, как это было свойственно ему до сих пор, не делает какой-нибудь совершенно другой поворот».

Иоганн Себастьян стащил с головы кудрявый в локонах парик и вытер им вспотевшее лицо. Засмеялся, сеточки ранних морщин вздрогнули у его глаз. Он только что сочинил «Наприччио на кудахтанье простодушной курицы»...

Как всякий серьезный музыкант, профессор считал долгом своим изучить все, что в нынешнее время из творчества Баха было известно. О, это много, много томов! Но если подыскать ко всему его наследию эпиграф, то подошли бы, пожалуй, слова самого Иоганна Себастьяна из письма к двоюродному брату Элиасу: «По недостатку времени я хочу многое сказать в немногих словах». Многое в немногих словах! Ведь времени, отпущенного судьбой, гению всегда не хватает...

...Профессор вскрыл пакет молока, купленный им на пути к собору. Молоко было теплым, и пить его было не столь уж приятно, но профессор верил в целебные свойства этого продукта и оставался верен своим привычкам. Он вообще за своим здоровьем следил, точнее, за остатками здоровья. Но иной раз проскальзывали в мыслях сомнения, даже упрек. «А зачем, к чему ты все это делаешь? Продлеваешь в себе что? Какую жизнь, какого человека? Того, много лет назад оставленного на пороге родного дома, по-юношески гордого, уверенного, любопытного к жизни и к самому себе? Или другого, вернувшегося с выцветшими пустыми глазами, не вбивавшими уже ничего от новой жизни, ни лиц, ни событий, — человека, всем нутром своим обращенного в прошлое, хотя и запретившего себе вспоминать?»

Профессор упрямо оберегал свою несовременность, свое несходство с ныне живущими людьми. Его привычки, вкусы, одежда, манера себя вести — все носило на себе печать именно

его времени. Будто постоянное напоминание себе и другим о том, что было, случилось с миром и что люди, по свойственному им легкомыслию, хотели бы, вероятно, забыть. Профессор свою судьбу, судьбу своего поколения словами никогда не рассказывал. Это такая малость — слова! Но взглядом, но интонациями он будто хотел дать понять всем ныне здравствующим, благополучным: «Из мертвых не воскресают. Вы не догадываетесь, а мертвые среди вас. Всмотритесь: а, не страшно?..»

Мир для него самого стал безлик: вообще страны, вообще города, вообще люди. Ни родных, ни любимых, ни друзей — незачем напрягать свою память для узнаваний. Только одного человека хоть через сто лет узнал бы: врага. Подпустив совсем близко, обернулся, взглянул бы прямо в лицо — в лицо ли? В белую, стылую усмевающуюся маску. Ноздрями бы ощутил терпкий запах крови, инстинкт подсказал бы: да, он...

Играя Баха, вслушиваясь в торжественное звучание органа, поднимаясь к вершинам, дыша этим разреженным высотным воздухом, чувствуя, что легкие полны, а в голове — пьяный восторг, называемый так приблизительно вдохновением, профессор вспоминал свое время, свою эпоху, свою собственную судьбу, и ярость, жестокая, мстительная ярость поднималась волной, захлестывала, почти ослепляла. Гениальный Бах понял бы такое состояние, такое толкование своих произведений? Кто знает... Надо родиться в двадцатом веке, подойти к пропасти, отшатнуться, снова начать жить, и тогда...

Специалисты не всегда бывали согласны с трактовкой Баха профессором. Не романтиков ведь играет, не Берлиоза, не Брамса, — к чему же такой темперамент? «Олимпийцев» нельзя на свой лад переиначивать. «Олимпийцы» — Бах, Гете, — разве можно так самовольничать с ними? Есть же традиции, рискованно ими пренебрегать.

...В седьмом часу утра профессор задернул на окнах плотные шторы, вывесил на двери табличку с просьбой не беспокоить, повернул ключ в замке. Кровать с несмятым бельем, недопитая чашка кофе, деревянная собака на столе, высматривающая что-то своим желтым пуговичным глазом, — а спать совсем не хотелось. Но надо. Для концерта силы нужны. Но вот почему так небрежливы к себе бывают гении? Почему так расточительны они, так неразумны? Будто нарочно подставляются врагам, болезням, испытывают судьбу... Или им судьба своя заранее известна? Реквием Моцарта... Может, он сознательно принял из рук Сальери отравленный напиток? Может, существует особая договоренность гениальных людей с природой —

она, их создавшая, зовет: пора! Но обычным людям, просто одаренным, талантливым, равняться в этом смысле с гениями нельзя. Опасное заблуждение, когда ажиотаж, нервное возбуждение, физиологического скорее свойства, нагнетается в себе и думаешь, что оно — признак высшей воли, избранничества, «небесного дара». Начинаешь злоупотреблять не принадлежащими тебе правами, браконьерствуешь, и гибнет то зерно, из которого возможно было что-то вырастить. Необходимо трезво оценивать себя, постоянно будить томительное чувство самонеудовлетворенности, но не увлекаться и этим, потому что без сознания собственной силы, воли нельзя ничего создать. Забыться — да, поверить в чудесный свой дар там, на эстраде, где неуверенность, осмотрительная осторожность губительна: зал это мгновенно распознает и перестает тебе верить. Но в будни, но в повседневности ты — как все. И даже невзрачнее, обыденнее. Выходишь из дома, покупаешь в подвальном магазинчике молоко, стоишь смиренно в общей очереди — очень важно не растратить, саккумулировать в себе то, что природой отпускается по крохам. И уж если тебе досталось, не разбазаривай это, храни...

Искушений так много! В особенности для людей талантливых. У Сальери ведь был выбор. Счастье понимать Моцарта тоже дается не всем. Вот здесь бы и остановиться! И была бы драма художника, наделенного высокой, благородной душой, чья жизнь и в неудовлетворенности прекрасна.

А кто способен, в конце концов, судить, был ли удовлетворен сам Моцарт? Вспомнить хотя бы профильные его портреты: нос, подбородок — все средоточие воли! Им изведаны преодоления, страдание, муки мученические. Искусство не допускает иерархии. Вечный поиск, вечное томление души — для всех...

Профессор погасил в номере верхний свет. Лег, вынул из столика затрепанную, разлинованную, как у школьника, тетрадку. Прочел сам себе вслух: «Самое великое в нем — драматизм его творчества. Этот драматизм есть чистая человечность. Разве это прежде всего не означает: человеческое страдание?»

Надо было спать. Вечером предстоял концерт.

Профессор раньше никогда не выступал в кафедральном соборе святого Павла, и для него

было неожиданностью, когда, поднявшись на хоры, он обнаружил, что люди сидят к органу лицом. Спинки скамей, оказалось, откидывались на обе стороны: во время службы — к алтарю, в дни концертов — к органу. Он приготовился увидеть только затылки, и вдруг — глаза, лица, слабое их свечение, приглашенное полумраком зала. Он подошел к балкону, поклонился: аплодисменты. В городе ждали приезда знаменитого органиста — собор был полон. Профессор почувствовал знакомый холодок, будто током пропущенный сквозь кожу. Сжал руки в кулак, чтобы унять дрожь пальцев. Это не был страх. Нет, сладостное возбуждение, какое переживают любовники, артисты, ожидая, — восторг не обладания, а постижения того, что трезвым рассудком понять нельзя.

Створки органной кафедры раскрыты: тройной ряд мануалов, справа и слева регистровые рукоятки, кнопки, рычаги.

При испытании органов Йоганн Себастьян Бах обычно включал все регистры, играл так звучно, как только позволял инструмент, горю, что прежде всего должен знать, хорошие ли у органа легкие.

Профессор сидел к залу спиной, но знал, чувствовал каждой клеточкой своего существа внимание, поддержку всех присутствующих там людей. И не было в этот момент ни одной мысли, переживания, какое бы он хотел сейчас от них утаить. Всего себя, всю музыку — туда, в зал, этим людям. Полное с ними сродство, музыка всех объединяла. Как прессом, выдавливала все суетное, неблагоприятное. Профессор не мог себя сейчас щадить, и этих людей — тоже...

Он играл, пальцы вдавливались в клавиатуру. Играл Баха — то, о чем немислимо словами сказать, о самом человеческом — о человеческом страдании.

Драма реальной человеческой жизни — вот что раскрывали в своей музыке Моцарт, Бетховен, Бах. Но в преодолении личного, замкнутого — к восприятию мира в целом. Мира, где скорбь и радость сплетены в единый клубок, и лишь многоголосьем возможно выразить животворную его силу. Люди слушают, подчиняются этой музыке, как стихии. Стихии гения, прозревшего и этот век, и ныне живущих...

ГАРМА-ДОДИ ДАМБАЕВ

ГУНСЭМА

ПОВЕСТЬ

Перевод с бурятского Е. И м б о в и ц

День стоял холодный, пасмурный. Балташинский перевал был еще далеко, машина медленно, будто преодолевая себя, взбиралась по укатанной до ледяного блеска дороге. Под колесами скрипел снег, мотор гудел натужно, прерывисто, и все-таки машина подзла вверх — тяжело, судорожными рывками. Временами перегревшийся мотор то свирепо ревел, то останавливал, оглушая эхом глубокую долину.

Ехали в машине трое. Невысокий щупленький председатель колхоза выглядел мальчишкой рядом с угрюмым водителем. На заднем сиденье молчаливо дымил папиросой корреспондент районной газеты — остроглазый, лет сорока, в рысьей шапке с опущенными ушами.

— Заберемся на перевал, а там уже рукой подать. Прямо к стоянке спустимся, — говорил председатель, то и дело оглядываясь назад. В голосе его слышались и настороженность, и затаенная растерянность перед незнакомым человеком. — Сказать по правде, во всем нашем аймаке не найти овцевода лучше Цыбана. От ста маток взял сто десять ягнят, — возбужденно объяснял председатель, обращаясь к собеседнику. — Эта семья у нас в большом почете. О Цыбана и областная газета писала не раз, и по радио говорили. Сюда, правда, мало кто из журналистов добирался... Все больше на совещаниях... в районе да в области с Цыбаном беседуют, — как бы оправдываясь, сказал председатель и улыбнулся. — Я очень рад, что вы здесь. Не нравится мне, когда ваш брат ленится прокатиться какой-нибудь десяток километров и давай по телефону выпрашивать, кто да чем отличился. Странные времена... кругом все на колесах, а человеку не то чтобы пешком — на машине и то проехать неохота.

Углубившись в свои мысли, газетчик слушал его рассеянно. С очерком о чабанах следо-

вало поторопиться, а сможет ли он вернуться через три дня в редакцию?

Темная, угрюмая седловина перевала тем временем приближалась. Перебегая дорогу, неслышно скользила по льду поземка.

Пустынные склоны, холмы, обрывы — все замело снегом. На душе было смутно, словно какая-то тревога поднималась над сугробами, так низко неслись над землей суровые облака, так безнадежно завывал ветер.

— Похоже, будет буран, — вздохнул присмивевший председатель. Теперь он уже не суетился, не оборачивался то и дело назад, видно, подействовало и на него величественное зрелище снежной пустыни. К тому же начинало темнеть, и он забеспокоился: надо было успеть еще сегодня в соседнюю стоянку. Там не ладилось с кормами. А он знал, как трудно придется чабанам, если запуржит надолго.

«Как ни крутись, а корма надо туда подбросить», — подумал председатель и почти забыл о сидящем сзади корреспонденте Тагаре.

Ветер усилился. Снег белыми летучими волнами стекал по склонам гор. Тагар спросил:

— Послушайте, почему вы считаете, что будет буран? Может, обойдется?

— Ни за что не обойдется, — тряхнул головой председатель, и узкие глаза его пощупали мутное небо. — Во-он, видите? — показал он рукой на северо-запад. — Оттуда идет.

Тагар посмотрел в ту сторону и ничего не увидел — отовсюду грозно и неотвратимо давили тяжелые облака, посвистывал ветер, но край неба на северо-западе действительно помутнел.

— Не застрять бы здесь, — тревожно подал голос немногословный водитель.

Все трое замолчали. Каждый думал о своем.

Вскоре повалил снег.

И уже ничего не видеть было вокруг, только белая пушистая пелена окутала дорогу и бегущие по бокам холмы. Неожиданно мотор загудел тихо и ровно, машина понеслась вниз.

— Перевал миновали, — облегченно вздохнул Тагар, он смотрел, как бьется в смотровое стекло тяжелый, косо летящий снег.

Машина обогнула подножие горы, свернула на разбитую дорогу, которая убегала вниз по длинной просторной долине, совсем уже покрытой мраком.

Со всех сторон сбегались сюда утопанные овечьи тропинки. Вскоре оборвалась и эта дорога. Вдали мелькнули сероватая войлочная юрта и круглый вместительный овечий хотон. С обеих сторон их обступал колючий кустарник. Гремя и подпрыгивая на ухабах, машина подъехала к зимней чабанской стоянке и остановилась.

Хотон был сложен из длинных, поставленных стоймя, жердей и утеплен толстым слоем соломы. К нему примыкал загон. Рассыпавшись по нему овцы услышали шум машины и с жалобным блеянием сгрудились у ворот. Растревоженный рыжий конь перестал хрумкать сеном и удивленно уставился на приехавших.

Из двери юрты высунулась маленькая черная головка, блеснули синеватые белки узких глаз, и Тагар рассматривал в сумерках девочку лет семи-восьми. На ней был кургузый тулупчик из овчины и шапка с длинными ушами.

— Приехали, Тагар Будаевич, — и председатель торопливо вышел из машины.

Тагар двинулся следом за ним.

— Как поживаешь, Бутид? — Председатель потрепал девочку за длинные уши шапки, присел перед ней на корточки.

— Ничего, — с достоинством отозвалась Бутид и потянула из его рук концы своей шапки. Не заходя в юрту, председатель зашагал дальше. Тагар не отставал от него. Бутид побежала было за ними, но вдруг передумала и потихоньку пошла обратно. Ветер развеивал полы ее тулупчика, подталкивал в спину.

Тагар обернулся и увидел, как удобно она пристроилась у юрты, чтобы спокойно дождаться их.

В помещении для овец было тепло. Вдоль стен лежали заиндевевшие кучи сухого навоза. Концы длинных жердей, сплетаясь, наверху оставляли рваное, круглое отверстие. В него заглядывало пасмурное, темное зимнее небо.

Председатель придиричиво ковырнул носком валенка овечью подстилку и вышел в загон к блеющим овцам.

«Порядком тут хворых да немощных маток и сена маловато», — подумал он и быстро направился к юрте.

— Когда вам корма привозили? — спросил стоящую у двери Бутид, но она только неопределенно пожала плечами. — А родители где? Девочка виновато потупилась.

— Мама с отарой. Отец уехал вчера на станцию Бурятскую и еще не вернулся.

— М-да... Значит, ты одна сторожишь дом?

— Не одна. Со мной кошка Маруся, — выпрямилась девочка.

— Ага, значит, не одна. Так, так... Придется вам, Тагар Будаевич, остаться, с Бутид познакомитесь. Буран переждете. — Он суетливо протянул Тагару руку и пошел к машине. — Ну, счастливо.

Тагар и Бутид проводили взглядом взревевшую на первом же ухабе машину и смущенно покосились друг на друга.

— Идемте в юрту, — позвала Бутид неожиданного гостя и распахнула дверь. Тагар, чуть пригнувшись, перешагнул порог. Его обдало теплом человеческого жилья. Запах вареного мяса напомнил о том, что с утра он ничего не ел, и Бутид, как настоящая хозяйка, почувствовала это. — Проходите, раздевайтесь, — сказала она и подвинула к печке маленький стол — табсан.

Пока Тагар снимал заснеженное пальто, отряхивал шапку, Бутид успела сбегать за дровами — огонь в печурке угасал, а ей хотелось принять гостя как следует.

— Сколько тебе лет? — спросил Тагар, с удовольствием рассматривая ее лукавое, оживленное лицо.

Бутид выдернула из меховой рукавицы — бзелей обветренную руку, растопырила все пять пальцев, прибавила к ним два пальца другой руки и с улыбкой уставилась на Тагара, ни разу не моргнув черными смородинками глаз.

— А в школу скоро пойдешь?

— Отец говорит, когда восемь лет будет.

— Вот беда-то, — покачал головой Тагар, — значит, еще не умеешь ни читать, ни писать?

Девочка вспыхнула, сердито зыркнула блестящими глазенками, однако гнев ее тут же остыл, и она сказала:

— Вот пойду в школу и всему научусь.

— Конечно, научишься, — согласился Тагар.

Бутид подбросила в печку сухие полешки, а Тагар сел на низкую скамейку и осмотрелся.

Кошка Маруся нашла у печки теплое местечко и свернулась пушистым клубком. Время от времени она зевала, потягивалась, выгибая спину. По обе стороны печки стояли две кровати, в хойморе¹ на деревянном полу распростер-

¹ Красный угол.

лась медвежья шкура. На комод Тагар увидел радиоприемник и часы, показывающие шесть вечера. Над ними висела семейная фотография в квадратной раме. Налево от комода высился шкаф для одежды, а направо у самой двери — ухэг¹. На его деревянных дверцах красовался затейливый бурятский орнамент.

Бутид забралась на скамейку, стала объяснять:

— Это моя мама, это отец, это я, это брат, это ещё брат и ещё... — она тыкала пальцем в потёмневший снимок. Глаза ее блестели весело, возбужденно.

— Как зовут твою маму?

— Гунсэма.

— А ты знаешь фамилию ее отца?

— Нет, — протянула девочка.

Раньше, выходя замуж, бурятки в документах сохраняли девичью фамилию и лишь в последние годы стали принимать мужнюю. Как правило, до сих пор местные жители редко называют женщин по фамилии, а говорят: жена такого-то. Значит, и мать Бутид люди называют — жена Цыбана.

Тагар подошел поближе, всмотрелся в лицо Гунсэмы. Широкие, резко очерченные скулы, волевой подбородок, прямой, открытый взгляд выдавали характер сильный и упорный. В чуть опущенных уголках рта залегла едва заметная горечь.

Пока Тагар рассматривал Гунсэму, Бутид заварила в небольшом чугушке зеленый плиточный чай. Кошка потянула воздух розовыми ноздрями, выпустила когти, сузила зеленые глаза в горящие щелки и облизнулась. Уж кто-кто, а Маруся знала, что перед чаем люди будут есть душистое мясо с мелкими овечьими косточками. Так оно и случилось. Бутид поставила на табсан миску с дымящейся бараниной, и Тагар подвинул к столу скамейку.

За юртой завывал ветер и, словно играя не растроченной силой, раскачивал деревья. Горные вершины затянуло снежной пылью, не было видно ни реки, ни поросшего редким лесом склона, с которого совсем недавно к стоянке спускалась машина.

Приятно сидеть в непогоду в теплой юрте у горячей печурки. Тагар ел мясо и похваливал маленькую хозяйку. Бутид же немного смущалась, и от этого щеки ее покраснелись.

Маруся звонко хрустела косточками, уцепившись за них передними лапами, урчала, ставила шерсть дыбом.

После ужина Бутид заволновалась. То и дело прислушивалась, выбегала из юрты — беспокойлась за мать. Войлочная крыша прогиба-

лась под порывами ветра, грозя оторваться и улететь, девочка испуганно посматривала вверх, вздыхала, не находила себе места.

— Ну, что ты приуныла? — старался развлечь ее Тагар. — Хочешь, поиграем во что-нибудь?

Будит покачала головой. «Вот чудной! Разве он не знает, что играть ей особенно-то и некогда, надо подмести пол, вымыть посуду, накормить собак — Пирата и Бараса. Нужно бы загнать овец в хотон и набросать им сена, однако неудобно отказать гостю. Разве уж поиграть с ним в шагай¹?»

— В шагай так в шагай... — согласился Тагар. Бутид ненадолго отвлеклась. Ее быстрые руки ловко подбрасывали овечьи бабки. Это была примерно та же игра, что и в камешки: одной рукой подбрасываешь вверх бабку и тут же выхватываешь из кучи другую, победит тот, кто поймает их все. Бутид выиграла два раза, Тагар растерянно развел руками. Но Бутид прогрозила ему пальцем.

— Нарочно проигрываете... Так не считается.

Сыграли еще раз.

— Кажется, мама! — вскочила вдруг Бутид и, широко распахнув дверь, выглянула наружу. Через порог ворвался студеной воздух, и сразу стало холодно.

Оба вышли из юрты.

— Когда мама возвращается с отарой, у меня всегда уже натоплена печь и заварен чай... — зябко поежилась Бутид. — Сейчас тоже. Потом овец кормить надо. В загоне больные овцы остались. Когда мамы нет, всегда им сено бросаю.

Рыжий конь тянулся к охалке сена, прядал ушами, переступая с ноги на ногу.

— Может, пойдём раскидаем сухой навоз, — предложил Тагар. — Глядишь, и мама вернется.

— Если сделать это сейчас, то к приходу отары хотон успеет остыть. А вот больных овец надо кормить. — И Бутид пошла вперед.

Вдвоем они быстро загнали их в хотон. Бутид посмотрела в ту сторону, куда мать утром угнала отару, и снова горестно вздохнула. На южной, подветренной стороне, понурился конь, все стоял и пережевывал сено рыжий конь.

— Ну, что же? Пойдем за сеном.

Тагар низко надвинул на лоб пушистую шапку, а Бутид сунула руки в меховые рукавички.

Ух, как хлестнул их ветер, когда они вышли из загона. Снег вихрился еще сильнее, степь затуманилась — в ней хозяйничал буран.

¹ Низкий длинный шкаф для посуды.

¹ Бабки, кости.

Пока Тагар выдерживал из высокого стога холодное, пахнущее лугами и снегом сено, Бутид таскала его в хотон. Овцы хватали сено, просунутое между жердями, толкали друг друга, разгоревшиеся глаза их блестели, как оловянные пуговицы. За работой не так пробирал холод. Тагар прихватил в юрту охапку дров, и Бутид снова накидала в печку лиственничных полешек. Они сухо и громко затрещали, в юрте сразу стало тепло.

— Чай пить будем, — и Бутид вынула из ухэга хлеб, масло, потом подала Тагару налитую чашку, вежливо придерживая ладонью локоток протянутой руки.

Тагару все больше нравилась маленькая девочка, которая так ловко управлялась по хозяйству и знала старинные обычаи.

Бутид взяла ломоть хлеба, намазанный маслом, и сказала:

— Я как увидела вас, сразу подумала: большой начальник.

— Почему?

— Потому что у вас портфель, а в нем, наверно, всякие важные бумаги.

— По-твоему, все начальники ходят с портфелями?

— Ага. Только у бригадира сумка. Учетчик и скотный врач тоже ходят с сумками. А у председателя черный портфель с блестящими замочками.

— Значит, ты и меня в начальники произвела? Испугалась?

— Нет. Я даже бригадира и председателя ни капельки не боюсь.

— Ага. Значит, никого не боишься на свете?

Бутид доверчиво покосилась на Тагара, вытянула тонкую шею и зашептала:

— Боюсь...

— Кого?..

— Отца, когда пьяный.

Бутид втянула голову в узенькие плечи, прислушалась, как завывает ветер да клокочет тихонько в кастрюльке на краю плиты зеленый чай. Она приутихла и как-то вдруг сникла. Беседа снова прервалась. Говорить о чем-то другом Бутид не хотелось, а про отца вспомнить было неприятно — только вчера, уезжая из дома, он ни за что ни про что дал ей крепкого подзатыльника: «Не путайся под ногами, когда отец в город собирается». Самое обидное, что она и не путалась, просто положила ему в карман коробок спичек. Ну да ладно... чего уж там.

Бутид молча убрала посуду, с равнодушным видом забралась на кровать, за ней вспрыгнула кошка Маруся и потерялась о ее руку.

Девочка поглаживала кошку. Твердые теплые ладони скользили по гибкой лохматой спине. Бутид сидела, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать. Так соскучилась по матери. Конечно, если бы не чужой человек, она подошла бы к печке и крикнула в нее, чтобы скорее возвращалась Гунсэма. Так всегда делают, когда долго ждут человека. Ветер вылетает из трубы, находит его, и тот возвращается домой... Надо бы позвать маму, да как это сделаешь? В юрте гость, еще засмеет.

Тагар вдруг вспомнил о своем «репортере». Он открыл небольшой портативный магнитофон и позвал:

— Бутид, иди сюда. Спой песню.

— Я не умею.

— Не может быть!

Бутид, конечно, умела петь, но стеснялась.

— Вот мама поет хорошо, — сказала девочка и толкнула с коленок Марусю. — А я не буду петь.

— Ну, раз так, загадай мне какую-нибудь загадку или стишок прочти. Видишь, что я держу в руке, вот сюда, в микрофон, и говори.

— Не знаю я ни стишков, ни загадок, — призналась Бутид и дернула плечиком. Ей было стыдно, что она ничего не знает.

— Тогда расскажи что-нибудь о папе с мамой.

Девочка несмело подошла к «репортеру» и сказала, не спуская с него глаз:

— Мама утром погнала овец на пастбище. В полдень она всегда приезжала обедать. Почему ее до сих пор нет? Если бы она гнала стадо обратно, Пират с Барасом давно прибежали бы. Или она еще далеко?

Тагар перекрутил пленку и воспроизвел запись. Бутид внимательно, насторожившись, прослушала ее и стала надевать тулупчик. Она никогда не видела магнитофона, запись взволновала ее.

— Пойду искать маму, — сказала Бутид. Она помешала в печи остывающие угли, закрыла вьюшку, решительно направилась к двери.

— погоди, погоди, — остановил ее Тагар. — Я сам поищу твою маму, а ты раздевайся. Жди нас.

Девочка не удержалась и заплакала.

— Не плачь. Я сейчас мигом на коня и поеду. Седло есть?

— Есть.

— Куда мать угнала отару?

— На юго-запад, — ответила, всхлипывая, Бутид.

Тагар взял лежавшее возле двери седло, нашел уздечку и у двери обернулся.

— Не выходи из юрты, обещаешь?

— Обещаю. Только вы быстрее пригоните овец, — улыбнулась сквозь слезы Бутид. Нос у нее смешно сморщился, глаза заблестели еще ярче.

— На юго-запад, говоришь? Это в ущелье, что ли?

— Не знаю. Раньше всегда овец по южному склону пасли...

— Захочешь спать, ложись, но из юрты ни на шаг. Не то заблудишься и замерзнешь в степи.

— Я не буду выходить. Вы только возвращайтесь скорее, — и Бутид подхватила на руки Марусю.

Тагар загнал рыжего коня в ограду, накинул уздечку, по неопытности долго провозился с седлом.

В долине было пасмурно, метельно. Кругом непроглядная тьма. Росшие поблизости мохнатые деревья словно отделились и, едва заметно проступая, темнели в зимних сумерках.

В сердце Тагара закрался тревожный холодок: «Где сейчас чабанка? Задержалась, гоня овец с дальнего пастбища? Или, застигнутая бураном, не может пробиться домой?»

Ветер старался вырвать Тагара из седла. Хлестал в лицо и грудь, срывал с головы шапку, крепко подвязанную у подбородка тесемками.

Бутид все-таки вышла на минутку, ухватилась за ремень из конского волоса, которым была опоясана юрта, и, еле удерживаясь на ногах под ударами ветра, долго провожала взглядом Тагара.

Когда начала подниматься снежная пыль, Гунсэма выгнала отару в степь и медленно повела ее к стоянке. Вдруг ветер стал крепчать, вкружились снежные вихри. Шедшие впереди овцы остановились и принялись кругами заворачивать вспять. Те, что находились в середине отары, оказались впереди. А когда в ноздри им ударил морозный ветер, они воспротивились общему движению и метнулись обратно. Помогая хозяйке, Пират и Барас с лаем носились вокруг отары, но охваченные страхом овцы пустились бежать по ветру.

Пока Гунсэма пыталась подогнать отару к стоянке, наступили сумерки, навалился буран. Гунсэма поняла, что ей не удастся пробиться к дому, она решила погнать овец к прибрежной роще, чтобы сократить дорогу к хотону. Но до нее было еще далеко, впереди угадывался луг, занесенный снегом, а овцы неслись со всех ног, натываясь в темноте друг на друга, подгоняемые мощным ветром. Когда добрались до места, стало совсем темно. Обе собаки были опытными пастухами и могли умело вести отару в сте-

пи, но сейчас, в роще, растерялись и лишь беспомощно лаяли на перепуганных, бестолково мечущихся овец, на бегу вырывали у них клоchy шерсти.

Вскоре начался сплошной кустарник. Гунсэма ехала верхом, ей стало труднее продирааться сквозь цепляющиеся друг за друга сучья.

В роще было тихо, но верхушки деревьев по-прежнему гудели и грозно раскачивались, готовые вот-вот сломаться. Густо сыпал снег.

— Ху-лай, ху-лай! Барас, Пират! — кричала Гунсэма, направляя отару вверх по реке.

Неожиданно овец что-то испугало, они кинулись врассыпную. Пират с Барасом бок о бок нырнули в темноту. Встревоженные овцы беспомощно барахтались в снегу.

Где-то неподалеку залаяли собаки, давая знать, что они обложили зверя. Гунсэма ударила лошадь плетью. Гнедой ринулся вперед, к поляне. По лицу Гунсэмы больно и жгуче хлестали ветки. Одежда цеплялась за сучья.

Наконец кусты и деревья поредели. Она выехала на небольшую поляну. Гнедой метнулся в сторону, неподалеку в снегу перекатывался какой-то темный клубок. Конь дернулся, всхрапнул, едва удержавшаяся в седле Гунсэма услышала рычание Пирата. Значит, схватился с волком. Всполошенные овцы кинулись куда попало, ломаясь через кусты. Гнедой застриг ушами, вытянул вверх шею, резко мотнул головой и попятился назад.

Гунсэма закричала во весь голос. Перепуганный конь, стараясь держаться как можно дальше, бестолково кружил по поляне.

Вдруг Пират жалобно взвизгнул. Сердце у Гунсэмы екнуло. Она растерялась, не зная, как помочь слабеющей собаке. Кричала, звала сгнувшегося куда-то Бараса. Вне себя от злости на Гнедого, исступленно дергала повод.

Когда Гунсэма с трудом подобралась к рычащему, крутящемуся клубку, из темноты выкатился мохнатый Барас и бросился на помощь Пирату. Гнедой встал на дыбы и прыгнул в сторону, послышался предсмертный хрип. Гунсэма с трудом повернула лошадь обратно. На снегу лежал волк. Вцепившийся ему в шею Барас не хотел отпускать свою жертву и волочил ее по снегу.

Пират подполз ближе, странно свернув шею набок, жалобно заскулил. Барас между тем лаем подал знак хозяйке и снова исчез. Гунсэма мельком осмотрела рану на шее Пирата и погнала лошадь в ближние заросли, туда, откуда доносился лай Бараса.

Ветки по-прежнему хлестали, рвали одежду. Вдруг она увидела прямо перед собой сгорбившегося волка. Он теребил что-то, лежащее на снегу. Это была не собака — лай Бараса слы-

шался в стороне. Из-за туч медленно выплывала луна. Гунсэма всмотрелась — на задавленной овце стоял изголодавшийся, тощий волк и, не отрываясь, кромсал теплое мясо.

Гнедой рванулся в темноту. Гунсэма с трудом удерживала коня. Она отважно пыталась приблизиться к волку, но Гнедой метался из стороны в сторону, боясь продвинуться вперед.

Не желая оставлять драгоценную добычу, волк уселся на задние лапы, как будто издеваясь над безоружной женщиной. Широко разевая пасть, щеря острые зубы, глухо и грозно рыча, он сидел, приготовившись к прыжку. Гунсэма, забыв о страхе, все понукала и понукала лошадь идти вперед. Неизвестно, что произошло бы дальше, но в это время из зарослей выбежал, прихрамывая, Пират. Волк поднял голову. Все внимание его сосредоточилось на Пирате.

Гунсэма подняла ургу и, усевшись в седле понадежнее, стала заводить петлю на шею волка, который, рыча, препирался с собакой. Тонкая петля захлестнула его, и он метался, стараясь высвободиться.

Гнедой раздул ноздри, завертелся на месте. Истекающий кровью Пират несмело хватал зубами угодившего в ургу волка. Гунсэма тем временем затягивала петлю, едва удерживая прыгающее в руках древко урги.

— Барас! Барас!.. — звала Гунсэма охрипшим голосом. Овцы толпились под деревьями на краю поляны. Вот-вот лопнет петля, вот-вот силы оставят женщину. Что будет, если она выпустит ургу и рассвирепевший волк окажется на свободе? Сильный Барас пропал в зарослях. Нет и нет его. У пса мертвая хватка. Только он может спасти Гунсэму. — Барас! Барас!.. — продолжала кричать из последних сил Гунсэма. Она ослабела, руки и ноги дрожали, по спине катился холодный пот. Еще... ну, еще минута, и она выронит ургу. Вдруг из темноты пулей вылетел Барас, прыгнул на волка и могучим, мускулистым телом сбил серого с ног.

Гунсэма выронила зажатое под мышкой древко. Барас вонзился зубами в стиснутое тонкой петлей волчье горло, мотал тяжелую тушу из стороны в сторону. Но волк был живучий. Он упрямо вихлял костистым задом и пытался встать на ноги. Пират, поскуливая, уложил момент и кунул его за лапу. Гунсэма спрыгнула с лошади, подобрала ургу и снова стала накручивать петлю.

Волк в последний раз дернулся и распластался на снегу.

Уже порядочно прошло времени с тех пор, как Тагар выехал со стоянки, но рыжий конь

упрямился, не хотел отдаляться от дома, семенил унылой, ленивой трусцой.

Ничего не видно было вокруг, только протяжно выл студеный ветер. Скользя по земле, неслась холодными волнами поземка, перекатывалась под брюхом Рыжего, уже покрывшегося густым инеем.

Казалось, искать дорогу в этой черной ночи бесполезно. У Тагара было такое ощущение, что он очень давно в пути, хотя отъехал совсем недалеко. Он понимал это, и все же ему становилось жутковато. Один. В заснеженной степи.

Стали попадаться сугробы, и Рыжий еще убавил шаг. У Тагара защипало от мороза щеки, он растер их нагретой в рукавице рукою. Впереди была сплошная тьма. Боясь, как бы лошадь не оступилась, Тагар перегнулся через луку, разглядывая тропинку. Вскоре показалась молодая березовая роща. В ней тоже было ветрено, но все-таки снег хлестал меньше.

Тагар сошел с лошади, чтобы немного согреться. Поискал овечьи следы, но не нашел. В роще было спокойнее, чем на открытом месте, и Рыжий не хотел выходить из нее. Тагар стегнул его плетью, конь снова двинулся навстречу ледяному ветру, в степь. Надо было искать отару.

Вскоре Тагар потерял всякую ориентировку и машинально дергал повод, помогая уставшей лошади. Сообразив, что они по-прежнему удаляются от стоянки, Рыжий снова заартачился, но упрямый человек продолжал понукать его.

Снежный ветер закручивал вихрящиеся смерчи, смешивал небо с землей, дико завывал, свистел в редких кустах, одиноко торчащих посреди степи. Не было видно ни конца ни края этому бушующему белому аду.

«Заблудился... Как быть?.. Вместо того чтобы найти Гунсэму, сам заблудился, — со страхом подумал Тагар. — Скорее всего, она добралась до стоянки без моей помощи. Куда уж мне, городскому жителю, да в такой буран?»

Тагар то совсем терял надежду, то успокаивал себя: «Да нет... все обойдется. Я ведь немного отъехал. И отара не могла далеко уйти. Кто же поможет чабанке, если не я? Надо разыскать ее... я должен это сделать».

Тагар вспомнил стариков и услышанное от них в детстве: «Хороший конь лучше любого проводника — сам найдет дорогу». Он подумал, что в этих словах, конечно, есть правда, и отпустил повод. Впрочем, теперь ему было все равно. Он уже не сомневался, что заблудился.

Конь стал забирать вправо, и Тагар услышал странное гудение, напоминающее весенний шум вскрывшейся полноводной реки. Вскоре совсем рядом проступили распылчатые очер-

тания деревьев. Тагар решил, что они вернулись к недавно оставленной роще, но вскоре понял, что это лес. Могучий. С вековыми листовенницами. Это они шумели вершинами, это их стволы гудели от ветра.

Рыжий провалился по брюхо в сугроб и остановился. Тагар осадил его, выбрался на твердое место и пустил коня в заросли.

Ничего не видно было сквозь мохнатую стену кустов и деревьев.

Оказавшись впервые зимней ночью в буряне в незнакомом, тревожном лесу, Тагар растерялся. Он стал кричать изо всех сил, хотя знал, что людей поблизости нет. Гудел лес, свистел ветер. Тагар ехал шагом между деревьями, крепко натягивая повод. Вдруг ему показалось, что блеют овцы. Он оттопырил ухо у шапки, прислушался. В лицо больно ударял несущийся по ветру снег. Ничего, только сухой громкий шорох чернеющих в ночи деревьев...

«Померещилось... — подумал Тагар и сжал стремени поджарые бока Рыжего. — Пора выбиратьсь отсюда».

И тут он ясно услышал собачий лай.

Сердце его гулко колотилось, когда он добрался до рассыпавшихся по кустам овец. Тагар спрыгнул с коня и, ведя его на поводу, стал продирается сквозь густые заросли — за ними раздавался голос Гунсэмы. Ее не видно в темноте, но лошади почуяли друг друга и приветливо жаржали. В ночной мгле проступила темная фигура всадницы.

Гунсэма тоже увидела Тагара, но встретила его со странной неприязнью.

— Живо собирай овец, — сердито закричала она.

У Тагара от этого окрика опустились руки. Он молча стал сгонять к поляне овец, рядом носилась кругами Барас, выгоняя из зарослей отбившихся животных.

Тагар пригнал на место несколько овец и столкнулся с Гунсэмой.

— Что за человек — не нагуляется, не напьянствуется! А дом... а дочка? Как там Бутид? — напустилась на него Гунсэма, но, подойдя ближе, сразу осеклась. — Простите, — попыталась оправдаться она, — думала, муж приехал. Тут волки овец задавили.

Испуганные овцы снова шарахнулись в кусты. Рослый, высокий Барас обежал сгрудившуюся отару, скрылся в темных шелестящих кустах.

Не дожидаясь приказаний, Тагар пнул коня и ринулся вслед за убежавшей собакой. Едва он добрался до опушки, как на него выскочил, задевая ветки, матерый волк. Вслед за ним с лаем летел Барас. Спину Тагара обдало

холодом, он судорожно ухватился за шею скакнувшего вбок кося и едва удержался в седле.

Волк исчез в темноте.

Тагар и Гунсэма снова собрали овец посреди поляны. Лошади остановились, стали обнюхивать друг друга.

— Теперь можно немного отдохнуть, — улыбунулась Гунсэма и легко спрыгнула с седла. — Давайте-ка соберем сушняк да запалим костер. И волков отпугнем, и сами погреемся.

Тагар привязал лошадей к дереву. Гунсэма достала нож, стала рубить сучья и перетаскивать их поближе к овцам. Тагар тоже ломал сухие ветки.

— Ну, хватит, — улыбунулась Гунсэма, и Тагар скорее почувствовал, чем увидел в темноте эту улыбку. Стоя на коленях, Гунсэма разгребла снег, сложила ветки шалашиком и чиркнула спичкой... Налетел ветер, задул вспыхнувший огонь. Гунсэма покачала головой.

Тагар засмотрелся на нее — такое спокойствие шло от ее голоса, движений. Вот она нарвала пучок прошлогодней травы, вот засунула его между веток и с первой же спички подожгла. Костер жарко вспыхнул, темнота раздвинулась. Стали видны высокие вековые листовенницы, кустарник с притаившимися в нем овцами...

Гунсэма протянула руки к пламени и улеглась на землю. Смуглое, выдубленное жгучими снежными ветрами лицо ее отливало при свете костра красновато-медным блеском. Из-под рысей шапки на Тагара с добродушным вниманием, не мигая, смотрели блестящие черные глаза. Так же глядела на него на стоянке маленькая Бутид. Просторный, со сборками выше талии дэгэл¹ был подпоясан кушаком. Молодые и замужние женщины редко подвязывают дэгэл кушаком, так делают только те, кто работает на морозе. Гунсэма, видно, не впервые выполняла работу мужа. По тому, как ловко сидела она в седле, умело управлялась с отарой, чувствовалось, что чабанит давно.

Тагар увидел за кушаком женщины нож в деревянном футляре. А она с бесстрастным спокойствием рассказывала о том, что совсем недавно случилось здесь, в занесенном снегом лесу:

— Волки, говорю... волки напали. Одного старого Барас загрыз, другого удалось на укрюк взять... Пират-то еще молодой. Не очень сильный. Да и шею поранил ему волк...

Гнедой Гунсэмы позванивал уздечкой, тянулся к Рыжему. Тагар смотрел. Слушал. «Вот это женщина! — думал он. — Вот о ком надо

¹ Шуба из овчины.

писать. Сколько же ей лет? Скорее всего, тридцать. Ну, тридцать пять... А зубы в улыбке какие белые...»

Пламя костра жарко вспыхивало под порывами ветра. Вдруг огненный язык метнулся к ним, и они разом отпрянули.

— Почему вы носите с собой нож? — спросил Тагар.

— Ну, как же... В степи без ножа и спичек нельзя. Всякое может случиться, — улыбнулась Гунсэма. Лицо ее озарилось. Она уже забыла о Тагаре, думала о чем-то своем. Отдыхала. Такая трудная, страшная выпала ночь...

Тагар с затаенным сочувствием смотрел на притихшую женщину. О чем она думает сейчас? Что вспоминает? Тоскует по оставшейся в стоянке дочке? Озабочена тем, как уберечь в буран отару?

Овцы жались друг к другу, терлись заснеженными боками.

— Спасибо, помогли мне. — Гунсэма после долгого молчания обернулась к Тагару. — Трудно одной в буран.

— Да что вы? Я поздно подросел. Как говорится, к шапочному разбору... — смутился Тагар.

— Впервые вижу начальство, приехавшее в такую погоду.

— Почему вы решили, что я начальство? — усмехнулся Тагар, и Гунсэма с той же простодушной откровенностью, что и Бутид, объяснила:

— Ну, шапка новая... Перчатки кожаные...

— Да еще в седле держусь, как мешок с овсом?

Женщина ничего не ответила, только опять засветилась в улыбке.

— И никакой я не начальник...

— А кто же тогда?

— Я к вам из газеты приехал.

Гунсэма слегка отодвинулась.

— Ну, ну... Это, значит, из тех, которые любого человека прославить могут?

— Как это понять, Гунсэма?

— Да очень просто. Напишут однажды в газету, что такой-то, мол, ударник коммунистического труда, значит, тот и останется навечно ударником.

— Ну-у... это не так... — засмеялся Тагар.

— Знаю я, знаю, — отмахнулась Гунсэма. — Как вы решились выехать из дома в такой буран?

— Думал, смогу помочь вам...

— Как там Бутид?

— Ничего... Она молодец у вас. Только беспокоилась очень.

— Спасибо, что отыскали, что помогли, — еще раз поблагодарила Гунсэма и, немного по-

молчав, спросила: — Кстати, какой день сегодня?

— Суббота.

— Ага. Суббота. Бимба, значит. — Гунсэма глубоко вздохнула. — Днем и ночью крутишься с этими овцами... все на свете забудешь. Ну, уж если буран начался в бимбу, теперь до следующей бимбы колобродить будет...

— Почему субботу вы называете бимбой? — заинтересовался Тагар.

Гунсэма задержала взгляд на его лице, подыскивая подходящее объяснение.

— Бимба — самый тяжелый день недели. В старину было такое поверие — если в бимбу отдать кому-нибудь молоко или айрак¹, дойная корова или увечье получит, или останется яловой. Говорят, в бимбу рождаются слабые люди. Мой муж Цыбан родился в такой день.

Гунсэма поняла, что сказала лишнее, и умолкла.

Тагар тоже промолчал, хотя у него все это время не выходил из головы загулявший муж Гунсэмы. Он ни о чем не расспрашивал по мрачневшую женщину. Просто подумал: «Ну, а с кем не бывает? Может, это случайно... Он ведь на хорошем счету. Да и председатель так расхваливал его, пока ехали...»

— Так вот он какой... день бимбы. А я и не знал, — только и сказал Тагар.

— Раз уж вы приехали, — вздохнула женщина, — придется нам с вами стеречь здесь отару до рассвета.

Нелегко было овцам ночевать на холодном снегу. Они то и дело вытаскивали из сугробов озябшие копытца и отогревали их, поочередно прижимая к телу.

Тагар поворошил веткой огонь, крохотные искры взлетели красным снопом и исчезли, едва оторвавшись от земли. Пират улегся, поскуливая, у ног хозяйки и попытался дотянуться языком до задней лапы. На шее у собаки засохла кровь, шерсть скаталась в темные комья.

— Где волк тебя цапнул, бедненький? — погладила Гунсэма собаку. Осмотрела рану. Нахмурилась. Подумала: «Надо завернуть его в теплую овечью шкуру».

Прибежал охранявший овец Барас, остановился около Тагара. Настороживая уши, прислушался к чему-то.

При свете костра Тагар как следует рассмотрел собаку. Это был рослый широкогрудый пес с длинной мохнатой шерстью. С одним только недостатком — неповоротлив, зато в коротких лапах ощущалась богатырская сила. Вот он подвигал чуткими ушами, поднял под

¹ Кумыс.

себя торчащий из-под снега сухой куст, окинул зоркими глазами овечьи спины и, успокоившись, улегся около костра, положив большую голову на сильные лапы.

Тагар потер перчатками нагретые колени и отодвинулся от огня.

— Не знаю, что было бы с отарой, если бы не собаки, — задумчиво сказала Гунсэма. — Волки передавили бы всех...

Она помолчала, потом спросила:

— А вы чей будете? Мы ведь еще не познакомились.

— Меня зовут Тагар. Будаевич по отцу. А вас Гунсэмой, это я узнал от Бутид. Она показала мне вашу фотографию. И рассказала, что хорошо поете.

Чабанка улыбнулась.

— Не плакала она?

— Было немножко. Но это уже при расставании.

— Страшно девочке оставаться одной, — вздохнула Гунсэма. — Цыбана, конечно, нет дома?

— Ваша дочка сказала, что он уехал в Бурятскую.

— А я вас сначала за Цыбана приняла, обругала ни за что. Вы уж не держите на меня зла.

— Пустяки. В такой темноте легко ошибиться.

Гунсэма встала, осмотрела лежащих собак, овец, скучившихся недалеко от костра. Пламя его то меркло, то вспыхивало.

— Надо еще несколько костров разложить, чтобы волков отпугнуть, — сказала Гунсэма.

Барас лежал, вытянувшись на мокром снегу, выжидающе косился на хозяйку, будто слушал и понимал ее слова. Растревоненный раной на шее, Пират тоскливо поскуливал.

— Пойти собрать задавленных овец... да мяса нажарить. И сами поедим, и собак накормим, — вслух размышляла Гунсэма. — Ведь это когда еще буран кончится... Тут недалеко два волка лежат. Надо бы снять шкуры. Тоже деньги как-никак...

Гунсэма и Тагар добавили в костер дров, разложили неподалеку еще два костра, собрали задавленных овец и освежевали их.

Гунсэма подошла к раненой, потерявшей много крови овце и одним махом перерезала ей горло. Вытерев нож о шерсть, острым лезвием распорол грудь.

— Разве она не выжила бы? — спросил Тагар. Ему стало жалко овцу.

— Сами видите, сколько крови потеряла. До утра не дотянула бы.

Гунсэма освежевала овцу, затем вывернула

шкуру шерстью вовнутрь и завернула в нее раненого Пирата. Пес благодарно заскулил и наконец стих, пригрелся.

Гунсэма нанизала куски баранины на крепкий прут, протянула его к огню. Вкусно запахло жареным. Барас подполз поближе, высунул язык.

В животе у Тагара засосало, но первый кусок мяса он бросил собакам. Гунсэма одобрила его взглядом узких сияющих глаз.

Теперь, когда она жарила мясо, в ней было столько привлекательности, что Тагар поразился. Только что он видел, как, хмурясь, она свежевала овцу, а теперь в это вряд ли можно было поверить. В уголках рта теплилась добрая улыбка, брови взлетали с той милой беспечностью, которая невольно оставляет неясное чувство не то радости, не то сожаления о чем-то, уже прошедшем, не бывшемся. Дэгэл ладно обхватывал ее стройное сильное тело. И Гунсэма, озаренная пламенем костра, напоминала женщину из старинной легенды.

Давно уже Тагар не видел настоящей национальной одежды. Где же ее увидишь в городе? И теперь любовался Гунсэмой. Ей стало жарко, она расстегнула воротник дэгэла, на котором были пуговицы из старинного серебра с замысловатым узором. Гунсэма перешла их со, старого дэгэла матери. А та берегла как единственное наследство, доставшееся от бабки.

Зимняя ночь была долгой. То ли оттого, что они так ждали рассвета, то ли от необычной обстановки Тагару казалось, будто время остановилось.

Буран бушевал с прежней силой. Только тут, в лесу, было относительное затишье. Тагара стало клонить ко сну. Он покосился на Гунсэму, которая выглядела так же бодро, как и раньше. Можно было подумать, будто она нисколько не утомилась.

— Вы посидите, а я обойду овец, — и она торопливо зашагала к отаре.

«Наверно, тоже устала, — погружаясь в легкую дрему, подумал Тагар, — но по ней совсем не заметно... Все время на ногах. А у меня слипаются глаза, потому что я не мужчина, а тряпка. Размазня. В такое время сплю уже в своей теплой постели, вот и разморило...»

Тагар старался держаться, но тело не слушалось его. Обмякло. Веки налились свинцовой тяжестью. Чтобы не уснуть и не уронить мужское достоинство, он отошел от приветливого пламени и отправился собирать сучья. В лицо ударил холодный ветер, прогнал дрему. Влажная от пота одежда прилипла к телу, смерзлась. Он с трудом собрал охапку хвороста и вернулся к костру.

Под редкими порывами ветра пламя выбрасывало красноватые искры. На небе время от времени проступали мутные звезды и снова надолго пропадали. Вокруг костра таял снег, из-под него темнела прошлогодняя трава.

— Кажется, начинает проясняться, — сказала подошедшая к костру Гунсэма. — Вон и звезды появились. Если так будет, самое большое, часа через три-четыре буран уймется.

Тагар впервые был в зимнем ночном лесу. Да еще в буран. Слова Гунсэмы успокоили его. Ломило спину. Хотелось лечь куда угодно... на тающий снег, на прошлогоднюю траву и уснуть, уснуть.

А время шло, только близости рассвета не чувствовалось. Вершины деревьев все также шумели под порывами ветра, светились в темноте овечьи глаза, лес по-прежнему тонул в ночном мраке. Изредка слышалось тихое овечьё блеяние, поскуливал закутанный в теплую овчину Пират.

Тагар поворошил костер и, откинувшись назад, прислонился спиной к двум обнявшимся березкам.

«Может, предложить Гунсэме спать поочередно? Час она, час я, — решил Тагар, но тут же передумал. — Нет. Вдруг подумает обо мне плохо. Поскорей бы рассвет».

— Вы вздремните, я посмотрю за овцами и за костром послежу, — предложил все же Тагар.

— Да нет, — ответила она. — Я привыкла. Сейчас мне спать не хочется. Кутру, возможно, и вздремну. А вот вы поспите. Если что, разбуду.

«Не доверяет или заметила, что клюю носом?» — сонно подумал Тагар. В ушах у него лишь завывал ветер. Только ветер, ветер гудел над лесом. Тяжелая голова упала на грудь, и сразу перед взором его поплыли сотни зеленых овечьих глаз.

Гунсэма тихо встала и пошла оживить костры. Нет. Ей нельзя спать. Нельзя оставлять овец без теплой подстилки. То и дело надо поднимать на ноги. Не то поморозятся. Заболеют. К тому же в любое время могут появиться скрывающиеся в лесу волки. Собаки устали. Нет, не имеет права уснуть Гунсэма.

...Тагар открыл глаза, пытаясь вспомнить, где он, и понял, что заснул самым бессовестным образом. Рассвет давно занялся. Ветер стих, кругом было светло, только по-прежнему падал снег. Гунсэма бродила посреди отары, расталкивая улегшихся овец. Рядом с хозяйкой с озабоченным видом ходил Барас. Недалеко от Тагара лежал Пират и холодно, безразлично заглядывал ему в лицо.

Гунсэма выбралась из отары и пошла к костру, проваливаясь в сугробах. Тагару стало стыдно, что он уснул и оказался слабее этой женщины, но раскаиваться, тем более оправдываться было поздно.

Гунсэма приветливо улыбнулась ему и уселась на овечью шкуру.

— Вздремнули немного?

Лицо Тагара вспыхнуло, он замешкался с ответом.

Подбежал Барас, набросился на лежавшие возле костра куски бараньего мяса. Пират, поскуливая, жадно смотрел на него.

— Разморило у костра... — смущенно сказал Тагар.

— Замерзли небось. Хорошо, что поспали немного.

— Почему вы не разбудили меня? Я бы сменил вас.

— Да я и сама вздремнула. Вот только что встала и овец обошла, — успокоила его Гунсэма, заметив, что Тагару неловко.

— Езжайте домой. Согреетесь, чаю попьете, дочку посмотрите, — предложил Тагар. — Я побуду с отарой. Только растолкуйте, что надо делать.

Гунсэма, подбрасывая в огонь полуобгоревшие головешки, сказала:

— Раньше я не знала, что такое усталость. Только в последние годы начала сдавать... Старую, видно. Кажется, тысячу дел бы переделала, а сил не хватает.

— Сколько же вам лет, Гунсэма?

— Сорок восемь будет.

Лошади, простоявшие ночь на привязи, топтали под деревом снег. Тлели остывающие темные угли. Зыбкие гривы белого дыма стелились по земле. Кругом была непривычная тишина, лишь вершины деревьев слабо качались, потрескивали. Овцы сгорбились от холода.

— Теперь вы не только человек из газеты, теперь вы наш желанный гость, — улыбнулась Гунсэма. — Вот только время, сами видите, немного неудачное. Не до пирогов. Но ничего, я вас после приглашу, если живы-здоровы будем, на тээлей¹ приглашу.

— Ну, что вы... Я к вам приехал по службе... Очерк о вашем муже писать, — торопливо сказал Тагар.

— Служба службой. А вот придет весна, кончатся холода, дел будет меньше, и приезжайте, — продолжала Гунсэма. — Обязательно приезжайте. Ждать будем.

— Нет, что вы... ведь я... — стал было откazyваться Тагар, но Гунсэма перебила его:

¹ Сваренная баранья голова,

— Кроме дочери у нас трое сыновей. Двое институт окончили. Работают. Один учителем, другой доктором. Младший сын в десятом классе учится. В интернате живет в Бурятской. Этой осенью тоже в институт поступать будет. Только одно мне не нравится в них: едва начнутся писать букву «а», сразу от овец отворачиваются. Может, и верно все это. Кончил школу — учись дальше.

— Конечно, надо учиться, если есть способности, — поддержал разговор Тагар.

— Я ведь только четыре класса окончила, — вздохнула Гунсэма. — Тяжелые годы были. Голодные. Не до учебы. А теперь все желают стать учеными. Из всех детей одна младшенькая, Бутид, хочет быть чабанкой. Очень она животных любит.

Овцы пощипывали прошлогоднюю траву, проглянувшую из-под оттаявшего снега, и разбредались в разные стороны. Барас сидел на задних лапах и ждал приказаний хозяйки.

— Съездите домой. Пока согреете юрту, поедите, я посторожу, — еще раз предложил Тагар.

— Вы сможете запрячь лошадь в сани? — спросила вдруг Гунсэма.

«Какие еще сани?» — встревожился Тагар. Он и в седло-то садился раз пять за всю жизнь. Однако признаться в этом ему не хотелось, и он бодро ответил:

— Смогу.

— Тогда поезжайте на стоянку, запрягите Рыжего в сани и ждите меня у стога на восточной стороне рощи. Привезем сено, овец отогреем, а то замерзли совсем. Сейчас их нельзя из леса выводить. Еле на ногах держатся. Будут ложиться посреди дороги.

Тагар вскочил с места и быстро зашагал к лошади.

— Э, была не была. Попробую.

Рыжий с Гнедым обдирали с дерева кору. Они встретили Тагара настороженно. Он сунул ногу в стремя и медленно, неуклюже перевалился через круп коня. Когда подобрал повод и стал усаживаться поудобнее, подошла Гунсэма.

Лицо ее светилось белозубой улыбкой, полы дэгэла слегка расхотелись, за кушаком торчал деревянный футляр и сунутый в него нож.

— Поезжайте на северо-восток по редколесью, — махнула она рукой.

Рыжий покрутился на месте, не желая расставаться с Гнедым, и нехотя двинулся вперед.

Колотя стремями о бока Рыжего, Тагар окунулся вместе с ним в сугроб. Провалившись по брюхо в снег, Рыжий бросился вперед и вынес всадника в белую открытую степь.

Падающий снег скользил по лицу Тагара, щекотал щеки и ноздри. Пальто на ватной подкладке согревало тело, да и Рыжий сообразил наконец, что они на пути к стоянке, и понесся бодрой рысью, весело скидывая ноги. Тагар радовался безветрию, поглядывал на занесенную снегом степь, однако скоро настроение у него испортилось, очень уж трясло, немилосердно подкидывало в жестком деревянном седле. Он попробовал натянуть повод, но Рыжий упорно не сбавлял бега, будто нарочно вихлял крупом, подскакивал.

— Ну, ладно... упрямая твоя душа... — проворчал Тагар. Он вытянул ноги вперед, держась на одних стремях, стараясь не удариться о прыгающее седло.

Дело пошло веселее. Тагар ослабил повод, сдернул зубами рукавицу с заочневшей руки, стал отогревать ее дыханием. Рыжий бойко трусил к стоянке. Видимо, он хорошо знал эти места и мчался по горному склону без понукания, умело и осторожно обегая сугробы.

Горная падь, берущая начало от стоянки Цыбана, расположенного в начале куцей долины, очертаниями своими напоминала коврик. Высящиеся друг над другом голые каменные вершины, на которых не удерживался снег, скалистой грядой окружали долину, исчезая в мельтешащей белой суетне. За скалами началась степь. Буран оставил на ней белые барханы снега.

Наконец вдали показалась стоянка. Юрта Цыбана утонула в снегу, одиноко торчала лишь тонкая черная труба. Рядом с зимником не было видно ни скота, ни птицы. Только между кольями ограды торчали голые жерди, похожие на выпирающие ребра тощей скотины.

Стоянка встретила Тагара неприветливо. Все будто вымерло в ней без хозяев. Сиротливо и сумрачно чернел в снегу хотон, жалобно бляли овцы. Тагар привязал коня, бросил ему охапку сена и пошел к юрте.

У двери намело высокий сугроб, она не открывалась. Тагар попробовал раскидать снег ногами, но, увидев лопату, заткнутую за пояс юрты, схватил ее, стал отбрасывать снег в стороны.

Бутид, спрятавшаяся под одеялом, услышала, что кто-то топчется за дверью, обрадованная, вскочила с кровати. За ночь она выплакала все слезы и только под утро уснула, крепко обняв теплую кошку.

— Мама, почему тебя так долго не было? — кинулась к двери девочка, дрожа всем телом в остывшей за ночь юрте. Занятый работой Тагар не понял вопроса.

— Бутид, это я! — крикнул он.

Услышав голос незнакомого человека, девочка испугалась.

Тагар расшвырял у двери снег и вошел в юрту. За ним хлынуло морозное дыхание зимы. Бутид нырнула с головой под одеяло и долго не показывалась оттуда. Наконец выглянула, и вместе с ней высунулась мохнатая мордочка Маруси. Кошка жмурилась, шевелила усами. Бутид тоже прищурила черные, как смородины, встревоженные глаза. Смотрела на Тагара строго.

— Где моя мама?

— Скоро вернется. Как ты спала? Не страшно было?

— Ничего. Только вот мама... — Бутид всхлипнула, потеряла кулачками глаза. Маруся тоже забеспокоилась, прижала уши. — Почему Пират с Барасом не возвращаются?

Тагар уселся рядом с Бутид на кровати, погладил мягкие черные волосы девочки.

— Не плачь. Ведь ты уже большая. Вернется твоя мама. И собаки вернутся. Надо к их приходу согреть юрту. Смотри, как выстудило за ночь. — Тагар шумнодохнул, изо рта его вырвался пар..

Бутид притихла. Тагар подошел к печке, сел на корточки возле приземистой дверцы, подобрал расколотые полешки, развел огонь. Затрещали дрова, железная труба с шумом погнала вверх пламя, в юрте стало тепло. Тагар налил в чугунок воду, поставил на плиту.

Бутид выскочила из-под одеяла, быстро оделась и, надвинув шапку, побежала к выходу.

Тагар слышал, как со скрипом открылся деревянный ларь, девочка покопалась в нем, затем со стуком упала крышка. Широко распахнулась дверь юрты, вошла Бутид с тэбшэ¹, наполненным мороженой бараниной, поставила его на пол возле печки.

— Когда мама возвращается, у меня всегда сварена еда, — похвалилась Бутид. Лицо ее было серьезно, и Тагар с удовольствием посмотрел на маленькую хозяйку. До чего была похожа на Гунсэму! Те же блестящие, живые глаза, те же очертания рта, в уголках которого будто притаилась улыбка, готовая вспыхнуть в любую минуту. Зубы ровные, белые, но один недавно выпал, и от этого лицо ее было забавным. — Нарубите, пожалуйста, мясо, — попросила Бутид. — Только покрупнее. Я приготовлю бухэлер².

— О, ты и бухэлер готовить умеешь? — удивился Тагар. Он снял пальто и взял прогнутый девочкой топор. На под полетели мясные крошки, Маруся, урча, жадно подбирала

¹ Небольшое деревянное корытце,

² Бурятское мясное блюдо,

их, а Бутид уселась на низкую скамейку и стала смотреть, как мелькает топор в руках Тагара. Потом она помыла и положила в котел нарубленное мясо. Вода в чугунке тем временем закипела. Бутид поставила на табсан хлеб, масло и, заварив чай, разлила его по чашкам.

Над дымоходом уже закружились почуявшие запах еды голодные сороки. Тихонько гудели на легком ветру прутья плетня, которым была обнесена юрта.

— Сороки чего-то стрекочут. Наверное, гость какой едет. А может, отец. — Бутид прислушалась к шуму у дымохода. Она повеселела, села вместе с Тагаром завтракать, щедро делилась с кошкой хлебом и мясом.

Тагар разомлел в тепле, приятная истома окутала тело.

«До чего удобны эти юрты, — рассеянно думал он, потягивая из чашки горячий чай. — Стенки тонкие, и все слышно, что делается снаружи. Разведешь огонь, и сразу тепло. Однако надо торопиться».

Поблагодарив маленькую хозяйку, Тагар вышел во двор. Бутид пошла проводить его, и весьма кстати. Он раскопал в снегу оглобли саней, подвел к ним упиравшегося Рыжего и с помощью Бутид запряг коня.

Наступил день, но темные тучи мешали определить, где прячется солнце. К тому же снова поднялся утихший было к утру ветер, и колючие, хрустящие снежинки больно секли лицо. Снег затянул степь и ближние склоны сплошной пеленой.

Бутид показала, куда надо ехать, и санный след наконец побежал от стоянки, становясь все длиннее и длиннее. Бутид, стоявшая в самом его начале, а он уходил почти от порога, молча проводила Тагара взглядом и бойко засеменяла к хотону. Надо было кормить больных овец.

Когда Тагар подъехал к высокому стогу на приречном лугу, из зарослей ивняка появилась на своем Гнедом Гунсэма.

Тагар остановил сани у подветренной стороны стога, подобрал вилы и воткнул их в сено. Однако не смог выдернуть ни клочка. Гунсэма привязала коня к оглобле и велела Тагару залезть наверх.

Он забрался на гребень стога, расшвырял ногами снег. Отсюда, сверху, сено поддевалось с удивительной легкостью. Набрав полный навильник, он слишком широко размахнулся, и сено полетело, рассыпалось по ветру. На сани ничего не попало.

— Вы не поднимайте слишком высоко, — посоветовала Гунсэма.

Тагар послушался совета, и дело пошло на лад. Гунсэма ловко подхватывала летящие со стога охапки и подминала ногами. Тагар снова почувствовал себя сильным. Как приятно было ворочать вилами! Ему хотелось заслужить похвалу Гунсэмы, и он решил кидать сено до тех пор, пока она не остановит его.

Стожок на санях под умелыми руками чабанки поднимался ровно и плотно. Тагару стало жарко, и он расстегнул пальто.

— Застегнитесь. Простудитесь. Еще немного, и хватит, — крикнула Гунсэма.

Закончив работу, они направились к роще.

Ветер то стихал, то крепчал. Лошади шли легкой рысью. Тагар старательно объезжал сугробы и все же у самых кустов вогнал в снег груженные сани. Рыжий присел на задние ноги, рванулся вперед с такой силой, что заскрипела дуга, но, не выдернув из сугроба сани, безучастно застыл на месте, словно предлагая облегчить поклажу.

Тагар хлестнул его концами вожжей. Подъехала Гунсэма, посоветовала трогаться, беря круто в сторону. Упавший духом Рыжий равнодушно переминался с ноги на ногу. Тагар потянул на себя левую вожжу, снова хлестнул. Рыжий подался вперед, наискось разрезал сугроб и, выбравшись из него, пошел медленным шагом. Едва сани подъехали к лесу, как со всех сторон, проваливаясь в снег, набежали овцы. Тагар испугался, что они могут попасть под сани, и остановил лошадь.

— Бросайте сено по сторонам, — крикнула Гунсэма. Овцы уже отгеснили ее от саней. Во круг творилось что-то невообразимое. Голодные, с обезумевшими глазами овцы, стоявшие сзади, упорно пробивались к саням, наскакивая и подминая под себя передних. Они не обращали никакого внимания на крик Гунсэмы, продолжали напирать друг на друга, на сани. Тагар, стоя на возу, нелепо взмахнул руками и, едва удержав равновесие, стал торопливо разбрасывать вилами сено.

Оно падало недалеко от саней и тут же бесследно исчезало. Гунсэма собирала в охапки сено и относила подальше. Овцы окружили ее, прыгали, пытались урвать хоть клочок. Постепенно овец у саней становилось меньше.

Привезли еще два воза, потом погрузили на пустые сани туши пяти овец и волчьи шкуры.

Гунсэма зажала в кулаке повод, взобралась в седло. Появился Барас и, не желая расставаться с хозяйкой, нетерпеливо завилал хвостом.

— Останься. Куда это заторопился? Гляди за овцами, пока не вернусь. — Гунсэма отпустила повод.

Барас высунул язык, облизнулся, повилял хвостом и нехотя потрусил назад. Гнедой резко взял с места и зарысил, расшвыривая копытами снежные ошметки.

Меж густых туч появились просветы. Сквозь них выглянуло зимнее солнце и брызнуло светлыми лучами.

Всадник гнал коня во весь опор по горному склону. Выбившаяся из сил лошадь перешла на легкий галоп и наконец добралась до занесенной снегом стоянки. Она уткнулась в ворота и замерла на месте.

Ноги ее подкашивались, тело было покрыто потом, изо рта и ноздрей валил пар.

Цыбан сообразил, что добрался до места, но никто не вышел ему навстречу. Тогда он, ругаясь, слез с седла, повел упирающуюся лошадь к загону. Кое-как привязав ее к изгороди, направился к дому.

Стоявшая возле юрты Бутид молча уступила ему дорогу.

Цыбан остановился и спросил, поворачиваясь из стороны в сторону:

— Э... где твоя мать?

— С отарой... — несмело ответила Бутид, испуганно поглядывая на отца.

— Когда вернется? — и Цыбан, не дожидаясь ответа, с трудом переступил порог.

Бутид приуныла и грустно смотрела в ту сторону, куда ушел санный след. В глазах у нее защипало. Из юрты послышался громкий окрик. Бутид быстро вскочила туда, обмела веником ноги и повесила отцовский тулуп, небрежно брошенный на кровать.

Цыбан еще пытался снять костюм и жадно раздувал ноздри, поглядывая в сторону печки. Оттуда тянуло душистым запахом вареного мяса. Снег на унтах растаял и лужицей блестел на посланной перед кроватью медвежьей шкуре.

— Еда есть?

Глаза Бутид потухли, плечики опустились. Она ответила тихо, несмело:

— Вареное мясо... И чай.

— Ага. Мясо я учуял еще с порога, — сказал Цыбан и развалился на застланной кровати. — Нюх у меня острее, чем у голодного волка. — Он усмехнулся.

Вытащил из кармана бутылку водки, с трудом сполз на медвежью шкуру, засучил рукава. Придвинул поближе низкий столик, открыл зубами пробку, поставил перед собой бутылку и приказал отрывисто:

— Положи мясо в тэбшэ. Давай сюда. И стакан принеси.

Бутид молча принесла стакан, так же молча уселась на кровать, что стояла по другую сторону печки, и оттуда стала смотреть, как отец пьет водку и раздирает зубами мясо.

Маруся тоже почувствовала вкусный запах, задрала хвост трубой, потерлась о ногу чавкающего Цыбана.

Цыбан отшвырнул ее.

— Брысь. Все время путается под ногами! — и с размаху пустил в нее унтом. Маруся увернулась.

— Иди сюда... — тихонько позвала кошку Бутид. Обиженная Маруся подошла к ней. Та взяла ее на колени. Цыбан покосился на дочь и налил в стакан водки. — Не пейте больше... — робко попросила Бутид.

— Что ты сказала? — нахмурился Цыбан. Девочка промолчала. — От горшка два вершка, а учить вздумала.

Бутид знала, что сейчас лучше помолчать, и не стала повторять просьбу. Она хотела незаметно выскользнуть во двор и расседлать коня, но потом вспомнила, что ей ни за что не снять тяжелое седло, и тихонько вздохнула.

Выпив стакан водки, Цыбан в один присест уничтожил мясо в тэбшэ.

— Положи еще, — велел он дочери.

Девочка не торопилась выполнять приказание отца. Она молча поглаживала кошку. Бутид боялась отца, но ей хотелось оставить немного мяса и матери.

— Осталось совсем мало... пусть мама поест, — осторожно сказала Бутид.

— Сваришь еще. Да выброси эту кошку. Что ты все время с ней возишься?

Бутид быстро закинула кошку под кровать и выложила в тэбшэ из чугунок оставшуюся еду.

Она хотела принести с улицы мерзлое мясо и сварить его, но с грустью подумала, что не сможет разрубить, и уныло поглядела на пустой чугунок.

...Огонь в печке давно погас. Бутид отодвинула пустой горшок на край плиты и положила в печь дрова. Она хотела долить в горшок воды, но бидон оказался пустым.

Лежавший на кровати в хойморе Цыбан бесвязно бубнил себе под нос:

Нет... не брошу курить я табак —
Пусть пятерка, червонец уйдет.
Нет, не брошу курить и гулять —
Пусть пятерка, червонец уйдет...
Нет, не брошу я в карты играть —
Пусть пятерка, червонец уйдет..

Слова раздавались все реже, наконец слышался густой храп, кошка вылезла из-под кровати, стала брезгливо умываться. Она тщательно вылизывала белую лапку с розовыми подушечками, выставляла длинные когти и уж потом терла белый нос, фыркала, отряхивалась.

Надо было идти за водой. Бутид взяла ведро, набросила на узкие плечи тулупчик. Мороз больно щипал за щеки. Она опустила уши шапки и проворно затрусилась к кустам.

Вода в роднике была затянута льдом. Лунку занесло снегом, который шел всю ночь. Бутид сбежала за топором, принялась рубить лед. Во все стороны летели сверкающие брызги. Она долбила, часто переводя дыхание. Голова ее взмокла, по лбу заструился пот.

Бутид уже вырубил лунку глубиной в два вершка, когда топор вдруг плотно застрял во льду. Она дернула топорище. Лед разломился, в лицо ей ударила студеная струя. Потом фонтанчик осел. Вода бурлила, переливаясь через края. Бутид вытащила топор, принесла железную лопату и ударила по лунке. Образовалось отверстие, в которое мог влезть ковшик. Выплеснувшаяся из лунки вода стала растекаться по заснеженному льду. То там, то здесь позвякивали трескавшиеся ледяные корки.

Бутид слушала, как звенит лед, и не заметила, что облила тулупчик.

Девочка сняла с ветки ковшик, набрала в ведро воды, пригнула ветку и засунула конец ее в лунку родника, чтобы потом легче было расковырять замерзшее отверстие. Так всегда делала мать. И Бутид опять с тоской подумала о Гунсэме. Тоска была острой, гнетущей.

Часто отдыхая, девочка понесла ведро в юрту. С трудом перетащив его через порог, остановилась. Отдышалась. Потом сняла тулупчик, повесила у печки, чтобы оттаяла и высохла обледеневшая пола, подбросила в огонь полешки и, долив в горшок воды, взялась за веник. Надо подмести в хойморе, собрать раскиданные отцом кости.

Маруся терлась о ноги, мурлыкала потихоньку. Цыбан храпел.

Вдруг издалека донеслось поскрипывание деревянных саней, позвякивание уздечки. Бутид бросила веник и кинулась во двор.

Рыжий резво выбежал из рощи, но дальше начинался подъем, долгий, скрываемый ровной белизной снега. Конь потрусил еще немного и, утомленный поклажей, поплелся ленивым шагом. Он изо всех сил тянул груженные сани, кивал заиндеветшей головой, выбрасывая из ноздрей горячие клубы.

Гунсэма догнала Тагара и поехала рядом.

— Бутид огонь разводит... всю старается. Как бы юрту не подожгла, — сказала она, вглядываясь вдаль.

Из трубы приземистой войлочной юрты клубами валил дым и, завиваясь колечками, улетал по ветру.

— Что вы. Такая дома не подожжет... — улыбнулся Тагар. — Смышленная девочка.

Лицо Гунсэмы озарилось. В уголках рта затепелилась улыбка.

— Небось, мясо варит...

— Да, я нарубил ей. А вода была в бидоне.

Разговаривая, они и не заметили, как подошли к стоянке.

Привязанный у загона конь радостно, коротко заржал им навстречу, затряс окоченевшим телом, зазвенел стременами. Выступивший от изнурительного бега пот застыл и теперь жег его. Конь грыз кору на осиновой жерди и покачивался на дрожащих ногах. К седлу был приторочен порывевший мешок.

— Ну и хозяин дома... — сказала Гунсэма, быстро спешившись. — Вот бездельник, — рассердилась она, — чуть коня не загнал... Хоть бы охалку сена кинул... Что за человек?

Навстречу им уже бежала сияющая Бутид. Она раскинула руки, тулупчик был распахнут, шапка на затылке. Вдруг она увидела на санях окровавленные волчьи шкуры и остановилась, обмерла, будто кто схватил ее сзади за плечи. Глаза стали большими.

— Остановите сани возле юрты, — бросила Гунсэма и пошла к загону.

Бутид кинулась вслед за матерью.

— Мама, где Барас?

— Остался с отарой.

— А что у вас на санях?

— Волки напали ночью... Овец задавили. — Гунсэма ласково посмотрела на дочку. — Что делает отец?

— Уснул, — вздохнула Бутид.

— Давно приехал?

— Давно.

— Не мог коня распрячь... — Гунсэма обернулась к дочери. — Пусты Пирата в дом. Я пойду расседлаю.

Бутид поднесла ко рту сложенные лодочкой заокоченевшие ладони, подышала на них, быстро повернулась на пятках. Обходя сани, боязливо покосилась на оскаленные волчьи головы и позвала собаку.

Пират осторожно, хотя сани были совсем низкими, спрыгнул на землю и пошел рядом с Бутид. Она увидела на шее собаки застыв-

шую кровь и, присев на корточки, осторожно погладила Пирата.

— Это тебя волк укусил? Да? Очень больно?

Обласканный Пират заскулил, виляя хвостом. Бутид открыла дверь. Пират тяжело перешагнул порог.

За войлочной стенкой было слышно, как Тагар, крихтя, бросал овечьи туши в деревянный ларь. Вскоре он вошел в юрту вместе с Гунсэмой. Они растянули волчьи шкуры на сложенных возле двери поленьях. Пират, лежавший у печки, хотел приподняться, но обессиленно опустил на пол.

Цыбан громко храпел. На полу стояло опустевшее тэбшэ с обглоданными костями и застывшим соком. За печкой сидела, потягиваясь, сятая Маруся.

Мельком взглянув на спящего, Тагар прошел в хоймор и прямо в пальто уселся на скамеечку.

— Отец съел все мясо и уснул. Я не могла стащить с него пиджак... — тихо, будто оправдываясь, сказала Бутид.

Женщина засыпала в горшок с кипящей водой чай и отодвинула на край плиты. Она сидела еще около печки, закрыв глаза. Потом прошла в хоймор и сердито дернула спящего мужа за рукав.

— Вставай. Не время разлеживаться. Выброси из хотона снег, пока светло.

Цыбан приоткрыл глаз и повернулся на другой бок.

Гунсэма опять дернула его за рукав.

— Ну, что пристала? — заворчал Цыбан. — Был бы пожар, тогда другое дело. А снег... он и полежит. Чего ему сделается?

— Вставай. Нечего болтать, — перебила его Гунсэма. — Поздно уже. Стемнеет скоро.

— Замолчи, — огрызнулся Цыбан.

— Всегда найдет причину... — злилась Гунсэма. — Сладостей, видите ли, ему надо было купить к Цагалгану¹... А сам разгуливает целыми сутками.

— Ну что, по-твоему? Мне надо было остановить буран? — сказал Цыбан, с трудом поднимаясь и усаживаясь на кровати. Тут он заметил Тагара. Это его несколько не смутило. Наоборот, присутствие чужого человека словно взбодрило. — Не даст отдохнуть человеку, — уже весело крикнул он. — Конфеты в мешке. Справляй Цагалган.

— Очень мне нужен твой мешок! Пока ты гулял, волки пятерых овец задавили. — Гунсэма в сердцах махнула рукой и вышла. Цыбан

¹ Буддийский Новый год.

равнодушно обвел глазами юрту, и вдруг взгляд наткнулся на волчьи шкуры, распластанные на поленьях. Его словно обожгло.

— Значит, правду сказала? — растерянно обернулся он к Тагару.

— Зачем ей лгать! — строго сказал Тагар. Цыбан со злостью отмахнулся от него.

— Видели мы таких речистых. Нечего здесь проповеди читать. Делай свое дело, раз тебя из правления прислали.

— Я из окружной газеты, — с откровенной неприязнью посмотрел на Цыбана Тагар. Тот сразу приуныл. Было видно, что ему неловко. Он растерянно постоял, не зная, куда девать свои большие руки, и вышел вслед за женой.

В юрте стало тихо, только попыхивал на печке горшок с чаем. Маруся выглянула из-под кровати. Бутид тоже зашевелилась в своем углу. Тагар почувствовал на себе ее встревоженный взгляд, улыбнулся.

Пират сидел, уткнувшись носом в дверь. Царапал ее лапой, просился на улицу. Волновался, значит, как там хозяйка. Он поскулил немножко, и Бутид пошла было открыть ему дверь, но тут же метнулась обратно, потому что услышала за стеной шаги. Тихо подалась дверь. Вошли Гунсэма и Цыбан. По их лицам нельзя было догадаться, помирились они или нет.

Цыбан уселся в хойморе на кровать, вытащил трубку с кисетом. Зачерпнув полную трубку, он уплотнил табак желтым, прокуренным пальцем и начал затягиваться, да так глубоко, что щеки его проваливались внутрь. У него был такой вид, что, казалось, все ему нипочем: пусть хоть потоп, хоть светопреставление. Гунсэма нашла старую рубашку, разорвала ее, намочила в миске с молоком и обвязала Пирату израненную шею.

В юрте было тихо, только Гунсэма стучала у печки горшками да время от времени поскуливал Пират.

На низком столе появились чашки с горячим чаем, хлеб, масло. Гунсэма принесла со двора мясо, быстро нарубила его, поставила горшок в печь, на раскаленные угли.

Все молча принялись пить чай, с шумом потягивая его из фаянсовых чашек. Бутид, поглядывая на лица родителей, тоже пила чай. Она так старалась, так была поглощена этим, что глаза ее иногда сбегались к носу. Даже не заметила, когда Гунсэма вынула из мешка конфеты, только удивилась, увидев радужную горку на тарелке.

— И это все, что ты привез? На весь Цагалган? — спросила между тем Гунсэма, кивая на пустой мешок. — Гости приедут, чем угощать будем?

Смуглое лицо ее помрачнело, летучие брови опустились.

Как жить с этим человечком? И когда он так изменился? Может, всегда был такой, только она не замечала.

Гунсэма отодвинула чашку, повертела серебряное колечко на пальце.

Здесь в канун Цагалгана готовят угощение: сливки, сладости, большие пряники — бообо. Ходят друг к другу в гости. Неженатые парни отнимают или выманивают хитростью у приглаившихся им девушек кольца и не отдают несколько дней.

«Выходи за меня замуж — отдам колечко», — говорят парни.

Когда Цыбан попросил у пятнадцатилетней Гунсэмы примерить колечко, она сама сняла его с руки. Сама отдала ему. К весне она вышла за Цыбана замуж.

Жизнь начали хорошо. Цыбан был человеком веселым и работящим, с шутками и прибаутками брался за любое дело, и оно спорилось у него в руках. В дом пришел достаток.

Вскоре Цыбана назначили старшим чабаном, Гунсэму его помощницей, и они всей семьей откочевали с отарой овец на зимнюю стоянку.

Во время окота они с Гунсэмой не знали покоя ни днем, ни ночью. Нелегко было сохранить всех ягнят, но Цыбану это удавалось. Он стал передовым чабаном, о нем заговорили в районе. Из года в год успехи его правление колхоза отмечало премиями, портрет появился в районной, а затем и в республиканской газетах. Цыбан сделался известным, почитаемым человеком, принимал участие в районных и республиканских совещаниях овцеводов, где его непременно выбирали в президиум. Куда бы он ни приехал теперь — для передачи опыта или по другим делам, — везде был желанным гостем, везде слышал лестные для себя речи, всюду его щедро угощали. Постепенно он пристрастился к выпивке, стал нетерпим не только к жене, но и к товарищам по работе. Даже осторожные критические замечания Цыбан встречал в штыки, предпочитал забыться с помощью бутылки.

За частыми разъездами ему стало не до работы. И только благодаря стараниям жены, работавшей за двоих, показатели его все еще держались на высоком уровне.

Иногда Гунсэме хотелось бросить все, пусть люди наконец увидят, во что превратился ее муж, этот прославленный чабан. Но что-то мешало сделать это. Может быть, чувство долга...

Гунсэма, впрочем, догадывалась, что председатель колхоза и многие члены правления знают истинное положение вещей. Сначала она

недоумевала, почему не приструнят Цыбана, не поговорят с ним, не накажут, наконец. Но потом поняла, противится этому сам председатель колхоза. Не выгодно ему свергнуть Цыбана с пьедестала передовика. Ведь именем передового чабана славен и колхоз, а слава колхоза — это слава председателя...

Не однажды Гунсэма собиралась поговорить с председателем, но всякий раз откладывала. Узнает Цыбан — неминуем скандал. Возможно, дойдет и до разрыва...

Вспомнив сейчас, что ночью накричала на корреспондента, которого приняла за Цыбана, почувствовала, как стало горячо щекам... Все же, наверное, придется поговорить с председателем. А не поможет, вынести вопрос на правление... Хватит ли только у нее решимости? Гунсэма вздохнула, погладила потертое серебряное кольцо, сделанное ее отцом. За столом было тихо, только Бутид возилась тихонько с кошкой.

Гунсэма нарушила молчание:

— Тагар Будаевич, буран кончился. Поживите у нас.

— Что вы? — улыбнулся Тагар. — У меня командировка тоже кончается. Да и дел много. Как придет машина, так и уеду.

— Вы очень помогли мне. Не знаю, что было бы с отарой в эту ночь...

— Да что вы. Какая помощь. — Тагар вспомнил, как заснул у костра, и покраснел.

Гунсэма поддела вилкой дымящееся в горшке мясо, нарезала его ножом.

Цыбану мяса не хотелось. В голове гудело, в руках и ногах чувствовалась слабость. Он выбил потухшую трубку, снова наполнил ее табаком, раскурил и лег на кровать.

Гунсэма вынула из горшка мясо, поставила его в тэбшэ перед Тагаром. Лежавший на кровати Цыбан повернулся на другой бок.

— Иди, Бутид, поешь, — позвала Гунсэма. Девочка сползла с кровати и потащила с собой Марусю.

К вечеру все вышли чистить от снега хотон.

В просветах серых, пасмурных туч над горными кручами, над сугробами еще теплилось неяркое зимнее солнце. Оно уже скатывалось за дальние холмы. Ветер вроде бы приутих, но с высоких гор по-прежнему летела снежная пыль. Высились обрывистые кручи, заросшие по верхам темнеющими елями и лиственницами. Из-за круч доносились хриплые паровозные гудки.

— Кажется, снова запуржит. Очень уж со станции все слышно.

— До ночи надо успеть выбросить снег из хотона, — сказала Гунсэма. — Пойду накормлю больных овец и поеду к отаре.

Цыбан даже не обернулся в сторону жены. Он лениво пошвыривал лопатой снег, проваливался в сугроб, злился.

Выйдя на середину хотона, Тагар врезался было в снег, но, когда добрался до обледевшей подстилки, лопата со звоном отскочила от нее.

— Глубже просовывайте под снег лопату, — посоветовал Цыбан.

Бутид тоже орудовала маленькой лопаткой. Она забыла обо всем на свете. Длинные уши шапки развязались, узкие черные глаза разгорелись. Цыбан швырнул еще несколько лопат снега и уселся покурить. Неторопливо вытащил кiset, принялся набивать трубку.

Тагар по-прежнему кидал снег, на Цыбана не обращал никакого внимания. «Прославленный чабан» чувствовал себя неважно. Он побаивался, что человек из газеты может расписать все, что увидел здесь, на стоянке. Тогда пропала его слава. Лопнет, как мыльный пузырь.

— Поедете домой, возьмите баранью тушу. Мясо душистое, свежее... — осторожно предложил он Тагару.

Тот отмахнулся.

— Еще чего!

На этом их разговор и оборвался. Цыбану стало совсем не по себе.

«Напишет... наверняка напишет», — зато сковал Цыбан.

Но его тревожные мысли прервал радостный голос Бутид:

— Машина! К нам едет машина!

Мужчины прислушались. К стоянке и правда пробирался по сугробам газик. Развернувшись на мелком снегу, он подъехал к самому хотону и остановился. Из машины вышел председатель с молодым парнем.

Хлопнула дверца. Водитель осторожно ступил на снег, словно боялся провалиться. Он скрылся за газиком, потом снова появился, пнул ногой баллон и устоялся на Бутид.

— Есть у вас айрак? — спросил он у нее.

— Нет.

— Вот горе-то, — посетовал водитель. Тяжело дыша, он сел в кабину, сбил с сапог снег и захлопнул дверцу.

Увидев, как тучный, похожий на пузатый бочонок шофер с трудом влез в кабину, Бутид приснула. Этот толстый каждый раз просит айрак.

Как-то он угодил к ним прямо на позы¹ и в один присест съел тридцать штук, потом одну за другой выдул четыре огромных чашки айрака. Наверное, и сейчас где-то плотно поел —

¹ Крупные пельмени, приготовленные на пару в специальном котле.

лицо у него еще лоснилось от бараньего жира, глаза осоловели.

За хотоном послышался скрип шагов, появился председатель. Приезжий парень шел за ним следом.

Председатель походил по хотону, молча, внимательно осмотрелся и, подойдя к Тагару с Цыбаном, протянул папиросы.

— Спасибо, — отказался Тагар.

— Ну, как дела? — настойчиво осведомился председатель.

Цыбан покосился на Тагара и нехотя ответил:

— Нормально. Брала овцам сено из стогов, что на окот оставляли.

— Вот и молодцы, — обрадовался председатель. — Мы послали вам тракторные сани с сеном и машину с полным кузовом овса, да, видать, увязли машины в снегу. Не дошли... Должно быть, подъедут скоро. Значит, вы отару загоняли на ночь в хотон?

Чабан молчал. Тагару стало неудобно за Цыбана, который так ничего и не ответил председателю.

— Ну, я вижу, у вас обошлось все, — облегченно вздохнул тот. — Слов нет... туго было в этот буран с людьми и с транспортом. А вас все-таки двое было, — улыбнулся он Тагару. — Двое сильных мужчин — это большое подспорье в буран. — Председатель словно оправдывался за опоздавшую помощь, потом оглянулся на парня. — Это комсомолия, останется вам помогать. Парнишка надежный. Можете положиться. — Потом обернулся к Тагару. — А вы как? Останетесь или поедете с нами?

Тагар отдал приезжему парню лопату.

— Непременно поеду. Пора возвращаться в город.

— Уезжаешь? — спросила его Бутид.

— Да, уезжаю.

— А еще приедешь когда-нибудь?

— Обязательно. Вот начнется весенний окот, и приеду.

Тагар вынул из кармана четырехцветную шариковую ручку и протянул Бутид.

— Возьми. Это тебе на память.

Бутид несмело покатила на ладошке красивую ручку. Ей еще не верилось, что это принадлежит ей. Она робко улыбнулась Тагару, и, когда увидела его веселые глаза, сердце ее наполнилось радостью.

— Учись рисовать и писать, — сказал Тагар. — Весной ты мне что-нибудь нарисуешь в блокноте на память и свое имя напишешь. Договорились?

Бутид захлопала черными ресничками и пошла проводить Тагара. Пока они шли от юрты, она забегала то справа, то слева, заглядывая ему в лицо.

— Ну как, готовы? — спросил председатель.

— Да. Конечно.

— Тогда садитесь в машину.

Тагар попрощался со всеми.

Гунсэма крепко тряхнула его руку.

— Спасибо вам за все. Желаю удачи. Приезжайте.

Машина медленно тронулась с места и выехала по косогору на дорогу. Тагар обернулся и посмотрел в заднее оконце. У юрты со светлой, как дождевой гриб, крышей неподвижно стояла Бутид и, не отрываясь, смотрела вслед быстро удаляющейся по снежной степи машине.

Газик вырвался на только что проложенную трактором и машинами дорогу и, не попадая колесами в колеи, заматался из стороны в сторону. Тагар то и дело припадал к окну, ему хотелось увидеть те места, где он был минувшей ночью. Когда за горой мелькнула березовая роща, он улыбнулся.

— Ну, как? Собрали материал для очерка? — обернулся председатель и, не мигая, заглянул Тагару в глаза, дождался ответа.

— Думаю, что да.

Председатель оживился.

— Цыбан Доржин знаменит не только в округе. Его знают во всей области. Я думаю, вам не стоит упоминать о разных там мелких недостатках. Все люди не ангелы. Если заметили что неладное, пусть останется между нами. Мы тут, на месте, разберемся. Да похвалите заодно и его жену. Выносливая, работающая, просто на удивление.

Председатель что-то рассказывал еще, перечислял заслуги Цыбана, говорил о его грамотах, о премиях.

Но Тагар уже не слушал. Он равнодушно отвернулся и стал смотреть в окно. Встрепенулся только, когда увидел приречные заросли. Вот они, те вековые лиственницы, занесенные по пояс снегом.

Да, здесь провели они ночь с отарой. Вот темные круги от костров, вот поломанные овцами кусты.

И Тагар закрыл глаза, чтобы лучше вспомнить эту удивительную женщину. Да, она и правда похожа на женщину из легенды. И ветер раздувает дэгэл, прихваченный кушаком. И зимнее солнце трогает серебряные пуговицы, сияющие у распахнутого ворота.

ТУРГАН ТОХТАМОВ

СЛОВО ОТЦА

РАССКАЗ

Перевод с уйгурского С. Лыкошина

I

Сначала это письмо для меня ничего не значило. Оно лежало вместе с другими в кованом русском сундуке. Только в сорок седьмом мать завернула его отдельно от других бумаг и положила сверху в укладку.

В тот год я пошел в школу. Еще возвращались с войны отцы моих товарищей, а я жался по углам и смотрел на ребят, не скрывая зависти. Вечерами я бегал на станцию. Встречал приходившие с запада поезда. До последнего пассажира смотрел на распахнутые двери вагонов, но отец так и не появлялся. Я плелся домой, по-детски надеясь, что в этом поезде для отца не хватило места. И снова ждал завтрашнего дня, следующего поезда. Забыл о нашем доме и почтальон, но всякий раз, когда сворачивал он на нашу улицу, я, затаив дыхание, ждал, что он подойдет к калитке.

Весть об отце пришла не скоро, лишь через три года после того, как закончилась война. На серой, казенной бумаге из райвоенкомата матери сообщили: «Ваш муж Самид Кадыров погиб как герой в боях за Родину в ноябре 1941 года». Не нам одним пришли в тот год похоронные извещения, но мне казалось, что только наш дом мрачно затих. Не нужно стало бегать на вокзал.

Проходило время. Все меньше оставалось вещей, напоминавших об отце, и письмо чаще появлялось в руках матери. «...Я только что из госпиталя... — читала она. — Не сегодня-завтра снова в бой. Хотя вы и далеко, но у меня такое чувство, будто под Москвой защищаю наш городок... Постарайся, чтобы сын стал человеком». Через несколько лет карандашные строки стерлись и выцвели.

Трудно дружить с мальчишками, когда у тебя нет отца. У них только и разговоров о том,

как ездили с мужчинами на рыбалку, катались на паровозе. И чуть что, с гордостью говорят: «меня отец взял», «мы с отцом пошли», «отца позову». Долгими летними днями я один слонялся по пыльным улицам или с таким же безотца росшим конопатым Васькой Шевчуком сидел на железнодорожном откосе. Мимо проносились грохочущие, горячо дышавшие составы, а мы мечтали о том, что ждало нас в будущем.

II

Утром нас будил долгий паровозный гудок.

— Вставай, Аман! Вставай... В школу пора. Вон, слышишь, паровоз отца прошел... — будила меня мать.

Схватив матерчатую сумку, я бежал в школу, а мать шла на работу в депо. Мы никогда не опаздывали, и мне казалось, что, уезжая на фронт, отец наказал своему паровозу будить нас. «Как знать, сынок, может, когда-нибудь этот паровоз привезет отца», — обронила однажды мать. Чем больше проходило лет, тем сильнее надеялась она на возвращение мужа.

Помню, как ворвалась она однажды в дом и, не переведя дыхания, спросила:

— Не приходил?

— Нет. Никого не было... — удивился я.

Мать опустилась на порог, лицо ее стало серым, в глазах появилось безразличие. Я не знал, что делать. Помолчав и придя в себя, мать сказала:

— Поезд мимо прошел. Военный какой-то помахал мне рукой. Я думала, он. Очень похож.

Так и сидела прямо у распахнутой двери в наброшенном на плечи большом черном платке, глядя прямо перед собой в пустой угол комнаты. Загудел маневровый, звякнули столкнувшиеся буфера товарных вагонов.

— Теперь уже не дождемся, — тихо сказала мать и трудно поднялась с порога.

Уже вечером, когда на станции и в городке все затихло, резанул воздух нарастающий, протяжный гудок. Это возвращался из рейса паровоз отца...

Не раз грустно говорила мать: «Будь Самид даже инвалидом и сиди он дома — все равно он хозяин. Что я могу? Женщина есть женщина. Да и тебе без отца плохо. Сыну всегда нужен отец». В самом деле, как ни мучилась, как ни старалась она, а все равно чего-то в нашей жизни не хватало.

Манап-ака работал на железной дороге. Его жена умерла года четыре назад и оставила двух дочерей. Как-то само собой он начал заходить в наш дом, интересовался моей учебой и просиживал иногда до позднего вечера. Мать это раздражало. Укладываясь спать, она сердито ворчала: «Не отдохнешь после работы! Придет и сидит как пень до полуночи...» Однако при Манапе молчала, приветливо и согласно слушала, а выходя провожать гостя, надолго задерживалась во дворе, словно не наговорившись за вечер. Меня это тревожило. Затаив дыхание прислушивался я к негромким голосам за дверью.

В один из таких вечеров, скорее почувствовав, чем услышав какую-то возню на улице, я выскочил во двор и увидел, как Манап тянет куда-то за руку упирающуюся мать.

— Ты же не старуха, Аятхан! Твой сын и мои дочери — сироты.

— Отпустите! Отпустите мою руку, ведь я не бегу... Я позову Амана.

Невозможно было поверить в увиденное. Такой вежливый и внимательный Манап-ака вдруг оказался мерзавцем. Его ласковые беседы, разговоры об учебе — все болтовня! Вот он стоит и на моих глазах тащит... Как он посмел?! Меня затрясло. Не думая, схватил я валявшийся у двери топор и что было мочи зарорал:

— Оставь! Отпусти ее!

Мой голос отбросил их друг от друга. Я кинулся на Манапа, но остановил меня материнский окрик:

— Аман! Что ты делаешь?! Брось топор! Я кому сказала?! Брось!

Манап-ака стоял опустив голову.

Ночью мы не спали.

— Аман, не вздумай рассказать ребятам... По всей станции сплетни пойдут... Слышишь?

Я молчал. Мать ворочалась с боку на бок, вздыхала. Она знала, что я тоже не сплю.

— Может, тебе найти отца? — робко спросила она и от неловкости за сказанное снова умолкла.

— Не надо... — давась слезами, ответил я. — Не надо мне никакого отца. Я лучше сяду на поезд и уезду. Совсем уезду.

Протянув руку, она попробовала обнять меня, но я оттолкнул ее.

— Я пошутила, Аман. Я просто так... — сказала мать, силой обняла и крепко прижала к себе. Я лежал и думал, что стал уже совсем взрослым.

III

Дядю Пайзирахмана мы ждали. Брат отца служил на Дальнем Востоке и посылал длинные письма. В них он писал о своей трудной службе, о холоде и голоде, которые терпит, и клялся в любви к нам, единственным своим родственникам. Получая эти письма, мать ночами вязала теплые вещи, на последние деньги покупала съестное и отправляла дяде посылку за посылкой. «Мы все же дома, а как-то ему, бедняге, в чужих краях», — говорила она. Пайзирахман отвечал: «Тысячу раз спасибо, сестра! Благодаря вам я не чувствую себя сиротой... Мне не забыть вашей доброты, если только останусь живым... Дорогая Аятхан, не сомневайся, в жизни я опора и защита тебе и Аману». Возвращение дяди Пайзирахмана стало для меня праздником. Я боялся дотронуться до рукава его гимнастерки и считал себя счастливее всех мальчишек. Мать отдала ему все хитрые сбережения, чтобы он купил одежду, и винювата, стараясь не смотреть на мои ветхие брюки, успокаивала: «Ничего, когда дядя устроится на работу, он купит тебе новые. Ладно?» А до брюк ли было мне, только и жившему тем, что из армии вернулся мой дядя, брат отца.

Пайзирахман тоже радовался возвращению в родной дом. На базар за костюмом он не пошел. Зато купил на станции у проезжего солдата гармонь, а на остальные деньги напил так, что еле добрался до дома. Мать ничего не сказала. Возвратившись со смены и увидев, как пьяный Пайзирахман сидит и играет на гармошке, она встала у двери и долго стояла, так и не выпуская из рук большого, тускло мерцавшего стеклами фонаря.

Пайзирахман собрал во двор молодых девушек и соседских парней, играл, не жалея сил, и орал пьяные песни. Веселье повторялось изо дня в день, и гармошка на нашей улице не смолкала с осени до весны.

Усталая, одетая в черную железнодорожную шинель, мать на мои нерешительные вопросы отвечала сдержанно:

— Наверное, дядя не может найти работу по душе... Ничего. Хватит нам и того, что я работаю. Ты, сынок, в эти дела не вмешивайся. Твое дело учиться...

Весенним вечером дядя Пайзирахман объявил о своем намерении жениться. На Салиме, буфетчице из вагона-ресторана. Мы удивились. Как может жениться человек, не имеющий заработка? Мать молчала. Молчал и будущий муж. Наконец мать сказала:

— Что я скажу? Хочешь — женись! Совет да любовь... Твоя мать оставила корову с теленком. Продай... Вот тебе и деньги на свадьбу.

Пужинав, помечтав о том, как справит свадьбу, Пайзирахман, довольный, как всегда, с гармошкой отправился на гулянье.

Тут я не выдержал.

— Что ты ему сказала?! Ведь сама же говорила, что корова досталась от отца! Разве не бабушкину мы зарезали в прошлую зиму?

Собирая со стола грязную посуду, мать нехотя ответила:

— Неважно, чья корова. Пусть берет. Наше дело помочь ему. Обзаведется семьей, а там как хочет. От него не вернется — бог вернет.

Ничего другого дядя, надо думать, и не ждал. В воскресенье он зарезал корову и отвез мясо на базар. Я не выходил из дома и не ел суп, который сварила из требухи мать.

Молодые прожили у нас неделю. Вернувшись как-то из школы, я застал дядю и его жену сидящих посреди комнаты на чемоданах. Грузная, пестро одетая Салима походила на наседку.

— А-а. Вот и ты появился! — радостно поднялся навстречу Пайзирахман. — Мы уже собрались идти. Передай матери, что теперь я буду жить у тещи. Будет время — забегу...

«Ну и хорошо, — подумал я. — В нашем доме не должно быть чужого мужчины».

По правде говоря, я скучал по Манапу, который не то что разговаривать, но и видиться со мной не хотел, а если шел навстречу по улице, то старался свернуть в сторону. Спусти много лет, сейчас, я думаю, что вместе с Манапом-акой прогнал со двора и счастье матери.

Узнав об уходе Пайзирахмана, мать словно ослепла. Споткнувшись о порог, она медленно вошла в комнату. Прислонившись к стене, закрыла лицо руками, срывающимся голосом тихо заговорила:

— Всю жизнь я такая несчастливая... Всю жизнь... Как проклятая... Целый год кормила, одевала, ждала. Думала, хозяином станет... и ушел, слова не сказал! Нет у тебя дяди, сынок!

Это я и сам хорошо понимал.

Вскоре мы узнали, что Пайзирахман устроился проводником на поезд дальнего следования и работает в одной бригаде с женой.

Я часто бегал в депо. Мне нравилось здороваться с машинистами, чувствовать пожатия жестких, испачканных маслом ладоней. Такие же, наверно, были руки у отца. Проходили годы, все меньше оставалось тех, кто работал с ним, знал его. Все меньше становилось знакомых рук.

Манап-ака тоже работал машинистом и на фронт уходил вместе с отцом. Я давно забыл обиду и хотел, чтобы он, как прежде, ходил к нам в дом и рассказывал о войне. Меня до боли тянуло к нему, но подойти первым я стеснялся, а Манап-ака сторонился нас.

«Лучше мать с наперстком, чем отец с серпом». Есть такая поговорка. Это справедливо. И все же мне, мальчишке, не хватало именно отца. Чем взрослее я становился, тем острее ощущал его потерю. И по сей день твердо уверен, что и мне нанесла война свою рану. И рана эта хотя и бескровная, но очень болезненная.

IV

Когда мать узнала, что в соседнем поселке нашелся машинист, когда-то пропавший без вести, в ее сердце воскресла надежда. В тот день мы до полуночи говорили об отце. Представляли, как войдет он в дом, что скажет и как встретят его в депо.

Надежды наши не сбылись.

Все реже слышался знакомый гудок, а вскоре совсем затих. Паровоз загнали в тупик, где он долго еще стоял ржавая. Черная краска лохмотьями сваливалась с его боков, он рыжел и покрывался едкой железнодорожной пылью.

Я рос. Все в один голос говорили, что я вылитый отец. Его не забыли, и меня называли не иначе как «сыном Самида». На станции я был своим человеком, знал все ходы и выходы. Проходя мимо старого паровоза, я никогда не забывал провести рукой по шершавому, остывшему металлу и знал, что работать буду только здесь. Где работал отец.

Сдав последний экзамен, я пошел на станцию. У выхода из слесарки встретил Ваську Шевчука.

— Что делать будешь? — первым делом спросил он меня.

— Учиться думаю...

— Хватит учиться! Мозги вывихнешь! Иди к нам... Кто за отцов отработает?

Васька, конечно, был прав. Не мне, а матери хотелось, чтобы я учился. Она плакала: «Куда эта работа денется? Мало я день и ночь работаю! За тебя уже наглоталась и пыли и мазута! Иди учись!» И я засомневался. Встреча с Васькой решила все.

К Манапу идти я стеснялся, хотя он устроил бы меня в депо. И тут словно из-под земли снова появился Пайзирахман. Встретил он меня случайно и сразу же стал звать в проводники. Каких только слов он не наговорил о любви к нашей семье, чего только не наобещал! И его предложение меня соблазнило. Какому парню не хочется поездить по белу свету, побывать в далеких городах? Мать тоже обрадовалась дядиному предложению и сразу забыла все обиды.

— Ну да! Иди поработай, присмотришь... А придет время, и машинистом станешь.

Она все считала меня маленьким и думала, что под присмотром какого-никакого, но родственника надежней.

Вучили меня быстро. Застегивая на мне пуговицы нового форменного кителя, мать смеялась и, проводив до ворот, поцеловала.

— Вот ты и вырос, Аман. Счастливой тебе дороги. Давно уже не выходил из нашего дома мужчина-железнодорожник...

V

Хорошо помню первый рабочий день. Я стоял у открытой двери и дышал свежим, яростно рвавшимся в темноту тамбура ветром. Я только что не кричал: «Эй, смотрите! Я стал взрослым! Сын Самиды Кадырова вышел в свой рейс!» Я хорошо представлял тот начищенный, заново покрашенный паровоз, тянущий состав. А в будке, на месте машиниста, — отца.

В тамбур выглянул дядя. Недовольным голосом приказал закрыть дверь и идти в вагон.

Пайзирахман, словно чувствуя вину передо мной, старался помочь словом и делом. Иногда, казалось, он готов сделать за меня всю самую грязную работу. «Мы должны понимать друг друга с полуслова, быть друг для друга подмогой...» В конце каждого рейса Пайзирахман совал мне деньги. Я удивлялся этой щедрости, не понимая, зачем ему это нужно.

Мы работали проводниками общих вагонов. Народу всегда было битком, и дядя часто толковал с ревизорами за закрытыми дверями служебного купе.

Как-то после очередной проверки я зашел в служебку.

Дядя сидел раскрасневшийся, веселый и что-то напевал.

— Ну-ка закрой дверь! Иди сюда! Садись...

Ошалело смотрел я, как из карманов Пайзирахмана на столик полетели деньги. Мятых цветных бумажек набралась изрядная куча. Бережно расправив, сложив их в стопку и пересчитав, дядя чуть не пел:

— С твоей легкой руки, браток... Сегодня — сорок! Сорок человек на нас работают! Вот бери... Это твои. Правда, ревизору пришлось рот заткнуть, ну да это пустяки. Бери! Чего смотришь?

Я и слова сказать не мог. Представил мать, работающую сейчас, в такую жару, в депо. Грязная, усталая, ворочает тяжелые железки...

Наверное, я очень изменился в лице, потому что дядя вдруг засуетился, занервничал и, стараясь не смотреть на меня, начал протирать стоявшие на столе стаканы.

— Вот что... На следующей станции всех безбилетников ссадишь! А то пойду прямо к бригадиру. Слышишь?

— Ты что, брат?! Ты в своем уме? — оцепенел Пайзирахман. — Ты эти шутки брось! Чтобы мы, мужчины, и только сортиры чистили?! Да с метелкой ходили?!

— Лучше б тебе носить платок, чем дожить до такого позора! Мужчины дороги строят, поезда водят! Лучше б ты на фронте погиб и родню не позорил...

— Ах ты, щенок! — вскинулся дядя. — Смерти мне желаешь? Ты ее не кличь! Я тебе хотел добро сделать, а ты... Недаром говорится: «Смерть от бога, а беда от родни»!

Дядя бросился на меня с кулаками. Когда он подмял меня и схватил за горло, в дверь кто-то вежливо постучал. Мы вскочили. Пассажир спрашивал, далеко ли до следующей станции. Дядя некоторое время молчал, не понимая, о чем его спрашивают, а сообразив, сквозь зубы ответил:

— Еще далеко.

VI

На высоком холме, недалеко от нашего дома, поставили памятник павшим землякам. Его открыли в тот год, когда я пошел работать.

В День Победы на холме собралось много народа. Ветераны войны, школьники, вдовы и дети погибших. Я только вернулся из рейса и, подходя к памятнику, увидел мать. Она стояла в стороне, сложив руки на груди, слушала и смотрела на все внимательно и доверчиво. Украдкой время от времени вытирала глаза уголком черного шерстяного платка. На блестящей латунной плите было выбито и имя моего отца.

С той поры каждый год мы ходили в этот день на холм. Я заметил, что у сверкающего обелиска все меньше собирается мужчин с боевыми наградами, и подумал, что их имена тоже могут быть выбиты на памятнике.

Меня перевели на московский рейс. Узнав об этом, мать заволновалась.

— Сынок... Ведь в тех местах отец погиб! Ты бы узнал, поискал могилу-то... Может, и найдешь, всякое бывает.

Что я мог ответить? Мало ли солдатских могил на белом свете! Не найдешь среди них отцовскую...

Мать продолжала:

— Ты поищи все-таки... Может, люди помогут...

Перед Москвой сердце сжалось и заняло. Я всматривался в мелькавшие за окном улицы пригородных поселков в надежде заметить что-либо похожее на воинские могилы. Дело казалось почти безнадежным. Но вдруг из тени привокзального сквера взгляд выхватил каменную фигуру склонившегося в скорбном поклоне солдата.

Что заставило меня утром следующего дня приехать на эту станцию — сказать трудно...

Могила была безымянная. За крашенной в белый цвет железной оградой на лавочке сидела старушка в черном платке. Она не заметила меня и, покачивая головой, что-то шептала. У подножия памятника в густой траве копошились воробьи, растаскивая брошенные туда хлебные крошки. Я вспомнил мать. Что, если это та могила? Кто может сейчас разделить людей, отдавших жизни за одно дело. Каждый из здесь лежащих может быть моим отцом.

Уходя, я дал слово привезти к могиле мать.

Я ничего толком не рассказал матери. Она расстроилась, обиделась, посчитала, видимо, что голова моя набита ветром. Мать ушла, а я занялся домашними делами. Дувал перед домом растрескался, надо было его подмазать. Руки соскучились по живому делу и легко месили вязкую глину. Я увлекся, а когда поднял го-

лову, увидел Манапа. С той скверной для всех нас ночи он еще ни разу не говорил со мной. Лицо его было мрачно. Глядя в таз с глиной, Манап-ака тихо, через силу сказал:

— Одевайся скорее, Аман... С матерью несчастье — сбило поездом...

— Она же только ушла! — вскрикнул я.

— На втором пути заливала бак водой и не заметила маневого. Она жива... Вроде ногу сломала и ушиблась...

Я виноват в беде! Это я толком не сказал ей о том, как ходил к могиле, и она расстроилась из-за меня! Ничего не видела вокруг.

В больнице было чисто и тихо. Мать оперировали. Мы ходили вокруг здания, стояли под окнами, но в тот день к ней так и не пустили. Только наутро в палате я увидел мать. Седые волосы, резко проступившие скулы, морщины были заметней на больничной подушке. Стало страшно. «Что, если она так и умрет?» Я заплакал. Мать приоткрыла глаза, с недоумением посмотрела на меня, видно не очнувшись еще как следует. Потом слабым голосом, едва выговаривая слова, сказала:

— Не плачь... Что мне делать, если ты... плачешь...

Я вытер слезы.

Наконец мать вернулась домой, медленно ходила по комнате, наводила порядок. Перебирая вещи, рассказывала, как попали они к нам. Ослабевшая и похудевшая, мать казалась со спины девочкой-подростком. Я смотрел, как копается она в сундуке, достает платки, старые платья, встряхивает, рассматривает их на свет, и что-то горячее, колючее вставало у меня в горле.

VII

Васька Шевчук снова изменил мою жизнь. Встретив меня на улице, он твердо, не сомневаясь в моем согласии, предложил:

— Бросай свои путешествия! У нас до зарезу слесарей не хватает. Да и работать вместе веселее.

На следующий день я пришел в депо. «Как сдашь дела, так и выходи, — спокойно сказал мастер. — Слесари нам нужны».

Мать жалела меня, пробовала отговорить, но, когда я сказал, что не стать мне машинистом, пока не выучусь слесарному делу, замолчала.

— Тебе повезло! — сказал Васька. — В са- мое горячее время работать начинаешь.

И правда, один за другим подходили к станции составы. Мы меняли «лапы», чистили горелые буксы, ставили новые колеса. Взвалив на плечо десяти-двадцаткилограммовые железки, я бегал от вагонов к депо и обратно. Выдалась небольшая передышка, и мы присели на шпалы. С непривычки хотелось спать и не верилось, что смена вот-вот кончится.

— Ну, Аман, с почином тебя! — весело хлопнул по плечу Шевчук. — Не знаю как машинистом, а слесарем точно будешь!

К работе скоро привык. Уже не ныли после смены ноги, не кружилась голова. Приятно слушать, как ровно и часто стучат на стыках колеса. Незаметно подошло время отпуска. Я уже давно решил, что повезу мать в Москву. Но она этого никак не ждала.

— Что ты, Аман! Куда мне... Если хочешь, езжай сам.

— Я хочу показать тебе могилу солдата!..

В поезде мать не отходила от окна. Впервые уезжала она из городка, в котором родилась и выросла. Как ребенок, она удивлялась лесам, деревянным домам, радовалась большим рекам. Она везла с собой письмо отца.

Долго стояла она у могилы, отыскивая что-то взглядом и шепча мусульманские молитвы. Уже в гостинице, сидя на краешке кровати, расчесывая седые волосы, она успокоенно говорила:

— Теперь я знаю, твой отец лежит здесь. Навещай его... И накажи своим детям.

VIII

Пайзирахман появился нежданно-негаданно. Он вошел в комнату, закрыв руками лицо, по бабьи запричитал.

— Что случилось, дорогой? — бросилась к нему мать.

— Беда... Беда, Аятхан... Пропали мы... Совсем пропали... Все, что нажили, забирают!

Столько лет трудился, ночей не спал... И все отняли... Меня в депо перевели... Салиму забрали, деньги лишние ревизия нашла... Пропал я, сестра! Совсем пропал!

Мать стояла бледная. Я тоже растерялся. А дядя, присев у стены на корточки, раскачивался и скулил, как побитый пес:

— Дети без матери остались... Как жить сироты будут? Кому жаловаться?! Денег нет, чужой смеяться будет... К тебе, сестра, пришел.

Мать заохала, кинулась к сундуку. Как не понять чужой беды? Мы отдали все деньги, что были дома, и Пайзирахман ушел, низко опустив голову.

Манап-ака умер от старой раны. Перед смертью я успел навестить его. Мы ни о чем не говорили. Я сидел и смотрел на неподвижное лицо, а он, положив руку мне на колено, лежал, не открывая глаз.

Стоя на кладбище, я впервые оплакивал отца.

— Аман! В конторе записывают на курсы машинистов! — подбежал ко мне Васька Шевчук.

У начальника уже сидело несколько человек, и мы испугались, что опоздали.

— Заходите, заходите, — приветливо кивнул нам начальник. — Ну вот, сыновья машинистов в сборе. Молодцы, ребята! — довольно хлопнул он ладонью по столу.

В тот же день мать открыла сундук и достала отцовское письмо. Бумага пожелтела и порвалась на сгибе, буквы посерели и стерлись. Однако и я и мать держали каждую строку в памяти. Мне стало неловко, что я уезжаю и оставляю мать одну. Но я должен ехать. Чтобы не забыли люди о моем отце, машинисте Кадырове. Я поведу поезда, которые водил он. Я скоро вернусь на нашу станцию, в наш дом...

ИГОРЬ КРАВЧЕНКО

СОЛДАТСКИЙ ОСТРОВ

ПОВЕСТЬ В НОВЕЛЛАХ

Авторизованный перевод с украинского К. Григорьева

Остров напоминает формой молодую луну, как и та счастливая земля, которую создал в своих мечтах Томас Мор.

Только это не утопия. Это реальный Н-ский клочок суши среди холодных волн северного моря. Его жители солдаты.

Все здесь тяжелое и могучее, раздалось вширь с былинной богатырской силой. Низкое небо вечно в грозном течении. Резкая линия очерчивает приземистый сосновый бор. Через прибрежные дюны в хороший шторм перекатывается волна и заливают, случается, старшинскую «холодную» каптерку, тогда вода подступает к самому порогу казармы.

Северное море ревет несмолкаемым медвежьим рыком. Он наполняет деревянные казармы, боевые кабины и гаражи, а зимой, когда волна затихает подо льдом, они гудят, как раковины, добытые с морского дна.

Белым-бело в этом мире. Белые здесь дни, летние ночи, море, снега, вьюги, чайки и лебеди.

Стелются к островку птичьих пути. Осенью и весной целыми днями вызванивают ключи, низко плывут над морем лебеди, утки, серые гуси.

И пути солдатские.

Осенью и весной играет праздничное «Прощание славянки» шелелявый ротный баян. На берег к первому катеру выходят офицеры с женами и детьми, солдаты, и всегда прибредает запряженный в повозку конь Малай.

Из года в год происходит круговорот островной жизни: пролетают лебеди, прибывают и отбывают солдаты...

ПОХОДНЫЙ МАРШ

1

— Воин!

Прокоп знал, что это к нему, но не отъезжал. Сидел, склонившись на табуретке между койками, каракулями выводил в «солдатской книжечке»: «Ветры, ветры, к ним трудно привыкнуть. Низко плывет северное солнце и не тонет в море. Надели военную форму. Бегаем смотреть на приказарменный градусник — показывает ноль (это в мае-то!). Ребята веселые, смеются, мерзнут и страшно много курят. У меня болят на холоде уши, обгоревшие дома. Ух, и пекло же было, когда привезли нас на сборный пункт! Лишь однажды дождик плеснул (даже запахом мокрой пыли обдало), и гром — стороной, над дарницкими соснами, над цветущими садами. Густо цвело, как никогда, дороги (когда везли на военкоматовском автобусе) розовым, белым цветом засыпаны...»

— Воин!

Теперь все смотрели на Прокопа. А тот вроде не замечал, не слышал голоса старшины. Краснея, дрожащей рукой продолжал писать: «Скоро будем принимать присягу. Усваиваем уставы, сбиваем на плацу сапоги, учимся по-солдатски ходить, говорить, есть, злиться, грустить, шутить...»

— Что это он пишет? — допытывался старшина у солдат, которые вместе с Прокопом только что прибыли на остров.

— Наверное, дневник.

— Пусть себе пишет, он журналист, больше ничего делать не умеет.

— Научим! — спокойно сказал старшина.

— Эй, Прокоп, допиши: сейчас получу два наряда вне очереди...»

Раздался смех.

— Рядовой Войченко! — и смех оборвался.

— Я!

— Ко мне!

— Есть! Товарищ старшина, рядовой Войченко явился по вашему приказанию.

— Я тебя раньше звал...

— Не слышал, товарищ старшина! Письмо писал. Девушке. Гражданка вспомнилась. Замечтался. Не слышал!

Прокоп врал вдохновенно, и старшина внимательно посмотрел на него. Сильные, налитые плечи, новехонькая встопорченная темно-зеленая гимнастерка, по которой еще издали узнаешь «салагу». Поглядел в глаза новичку, по привычке поискал в них наглости. Не нашел, это утешило старшину, решил на первый раз простить недисциплинированность. Поинтересовался:

— В газете работал?

— Так точно.

Прокоп, в свою очередь, рассматривал «островитянина». Старшине — двадцать, действительной службы воин, а выглядит так, будто за плечами годы походов. Полинявшая одежда, во всем его облике нечто такое, что сразу отличает его от тех солдат-штабников, которых Прокоп видел раньше, — особый военный шик, свойственный боевым командирам. Подумал: «Неужели и я когда-нибудь стану таким? Ой, что-то не верится...»

Старшина показал пальцем на сапоги Прокопа (почистить!) и сказал мягко, как учитель ученику:

— Зовут — значит, обязан сразу подойти. В армии так. Запомни это, воин.

Прокоп насупился. Именно это больше всего раздражало в первые дни службы — ребята чуть ли не на десяток лет моложе, а разговаривают с ним так, словно он только что на свет родился. В конце концов, закончил университет и имеет право хоть на какое-то уважение.

Старшина угадал мысли Прокопа, произнес строго:

— И еще запомни: ты сейчас не журналист — солдат. Понял?

Прокоп ершисто:

— Не совсем...

Ждал, что старшина разозлится, объявит внеочередной наряд за спор с командиром, но тот не рассердился. Бросил холодно и официально:

— Трудной окажется служба, если будете мерить все на гражданский аршин. Здесь вы солдат, рядовой, так что как солдат... — и уже дружеским тоном закончил: — Валяй пока что в прачечную, поможешь принести чистое белье. Знаешь, где прачечная?

Поняв, что лучше не обострять отношений, Прокоп отковырнул и бросился исполнять приказ.

Мрачным возвращался в казарму, согнувшись под тяжестью огромного мешка с еще влажным бельем. Не такой ожидал службы. Казалось, пошлют в газету. Перед распределением на Большой земле загадывал свое будущее. Видел себя в сержантских погонах — армейским корреспондентом. Мечталось: разъезжает, изучает солдатскую жизнь... Побывав в подразделениях, поговорив с солдатами, идет в приморское село на танцы, и в кармане гимнастерки у него записка об увольнении.

Где они, поездки и прогулки, где увольнительные? Давай тащи мешок с бельем да готовься в наряд на кухню! Слышал? «Ты здесь не журналист...» Ну да ладно. Главное — первые дни выдержать, а там будет легче, может, и в самом деле в редакцию газеты переведут. Характер упрямый, умел ждать.

Ждал. Нестерпимо хотелось писать. Даже не представлял себе, что эта жажда бывает такой болезненной.

2

Ритм солдатской жизни чеканный, как ритм походного марша. Побудка в шесть. Без ремней бежали (в ногу!) на зарядку к морю. На рассвете море немое и кажется теплым. На песчаных дюнах кряжистые сосны-одиночки. Они, как и первые ряды соснового бора, откинулись назад, словно мачты военного корабля. Впечатление, будто остров куда-то летит. Это северный ветер — сиверко — наклонил и обшарпал своими медвежьими когтями сосны, наклонил их так, что кронами касаются земли. Глянут солдаты на сосны, которые и в тихую погоду налиты страшной силой противодействия, и расправят плечи, словно сила эта к ним перешла.

Днем работали, потому что служба — это труд.

Когда наступало «личное время» — брились, пришивали чистенькие подворотнички, перебрашивались словами. Кто-то загрустит:

— Что там моя старушка делает? Вспоминает, наверное, плачет.

Кто-то тихонько:

— А наши как раз в клубе собрались. Кино сегодня — среда...

— А мне выгодно теперь служить. В селе совсем нет молодежи — кто учится, кто служит. Демобилизуюсь — как раз все и съедутся...

Прокоп привыкал медленно, трудно. Те, что помоложе, привыкали быстрее. Близнецы Жилковы, с которыми сдружился Прокоп, — маленькие, верткие, хитрющие ребята с Вологодчины, — те сразу акклиматизировались. Юрий пишет объявления плакатными перьями, вы-

дает в библиотеке книги и крутит в клубе кино.

Смотреть кино — первое развлечение для островитян. Бывалые люди рассказывают: когда приходит пора весенних и осенних штормов и надолго прерывается связь с Большой землей, одни и те же ленты прокручивают по столыку раз, что все диалоги оказываются выученными наизусть, и солдаты совсем не огорчаются, когда вдруг пропадает звук. Зато какая это радость, когда привозят новые фильмы! Бывает, правда, что на «премьере» вдруг погаснет свет или что-то случится с кинопроектором. Не расходятся. Из кинобудки выходит Жилков, становится у экрана и, собрав за спиной складки гимнастерки, по-военному докладывает, как разворачиваются события дальше, чем заканчиваются. Этому научил его только что демобилизованный киномеханик. Иногда посреди киносеанса неожиданно завоет боевая сирена. И тогда действуют организованно: сидящие на задних скамьях выскакивают через «парадные» двери, а с передних — ныряют прямо под экран, на котором еще шевелится изображение, и выбегают из клуба через запасной выход...

Вот так и пристроился Юрка к ответственному и выгодному делу, официально же числится в отделении связи. Он и писем получает больше всех. Пять девушек пишут из дому! Показывает эти письма. Весь гарнизон смеялся, когда Юрка написал одной из девушек, чтобы рассказала о себе, как выглядит (уже полтора месяца, как не виделись), а она: «рост 160 см, вес 64 кг...»

Аркаша называет Юрку баламутом, а Юрка Аркашу — философом.

А характер у второго Жилкова и в самом деле своеобразный. Дают на занятиях по технической подготовке задание прочитать от такой-то до такой-то страницы — Аркаша спрашивает:

— Товарищ майор, а если я всю книгу прочитаю, что будет?

Бывало, подойдет к Прокопу и молчит.

— Что, Аркаша?

— Забыл...

Помнется, помнется и отойдет... Забыл!

Как-то после отбоя, будучи дневальным, присел Прокоп на его постель. Тот не спит, глаза раскрыты, неподвижны, один глаз, как и у Юрки, чуть в сторону смотрит.

— Думаешь, Аркаша? О чем?

— О том, что знаю. А о чем не знаю, не думаю...

Тень хитрой улыбки пробегает по лицу и исчезает.

— Знаешь, Войченко, хочу наше море нарисовать. Я до службы никогда моря не видел. Думал, самое красивое на свете — восход солнца на реке. Туман skinется, птицы в листве запоют, букашки начнут стрекотать в траве, и вода от народившейся жизни запляшет. И чувствую это, как свою кровь в жилах. И радостно как-то становится... А взглянул на море — глазам своим не поверил.

Аркаша сам попросил, чтобы его назначили кочегарить на позиции — работа, пожалуй, самая трудная.

Когда ни заглянешь в кочегарку — толчется у топки или сидит на тачке, подстелив черную фуфайку. Устраивается рядышком с топкой так, чтобы тмано-красный свет из круглого окошечка падал на бумагу, и рисует море.

Аркаша часто ругает Юрку за лень, иногда чуть не дерутся (Прокоп не раз разнимал), но близнецы минуты друг без друга прожить не могут, всегда стараются быть вместе.

Еще ничего не знали, ничего не умели новички в этой странной для них военной жизни, но уже пробудилось в них что-то солдатское. Это в крови, во внутренней памяти народа. Они получили такое наследство.

Наступила весна. Их первая, непохожая на иные, солдатская весна.

Перед ужином, отшлифовывая строевые приемы, ходили по бетонке до самого моря. Пели «Шинель», «Катюшу». Бетонка кажется бесконечной, северное небо испещрено на западе красными полосами.

По дороге догнали медсестру из санчасти, только что приехала катером, торопится к себе, несет красные тюльпаны. Глянули солдаты на нее, на цветы — и вспомнилось «Прощание славянки». Медсестра отошла в сторону от дороги и остановилась, пропуская их. Старшина лихо взял под козырек, без улыбки дал команду.

— Смирно! Равнение направо!

Перешли на строевой. Когда, чеканя шаг, проходили мимо нее, девушка опустила лицо в цветы, а на солдат повеяло теплом и запахом тюльпанов.

Весна? Кто-то громко говорит об этом, и старшина впервые не шумит за разговорчики в строю. Как веснянку, запевают «Славяночку».

И в самом деле завесенилось. Тепло, хоть сиверко не утихает. Новички уже привыкли к этому.

В свободную минуту — чаще всего после обеда — сбрасывают гимнастерки, рубашки, загорают на солнце. Офицеры играют с солдатами в волейбол. Офицерские жены выходят из дома в летних платьях, сарафанах, сидят на скамейках, греются.

Умостившись на выбеленной волнами колоде, Прокоп не спускает глаз с ревущего северного моря. У берега вода ржавого цвета; чем дальше, тем больше добавлено белил в тяжелые свинцовые краски. Вспененные волны — прилив. По влажному, утрамбованному волнами песку, поднимая колесами брызги, промчит военная машина. Прокоп, млея на солнышке, прислушивается к солдатскому разговору. А мысль — о своем, а сердце — о своем, о далеком мире, который кто-то когда-то назвал «гражданским»...

Сошел снег — и стали играть с соседним подразделением в футбол. Старшина становился на ворота («Чтобы это я лично бегал? Пусть вокруг меня бегают!»), сержантский состав — в нападении, «дембельских», которые еще не успели уехать, самых надежных, — защитниками, а стриженных наголо новичков — в полузащите.

Аркаша играет хорошо, а из Юрки футболист никудышный, только мечется по полю. К старшине, вытянувшись на миг, обращается, как положено по уставу:

— Товарищ старшина, разрешите обратиться?

Тот, смеясь, разрешает, а Юрка просит, чтобы отпасовал мяч на него:

— Товарищ старшина, слово солдата, сейчас забью... Если не будут мешать...

В тот раз они проиграли со счетом 0:6. После игры старшина хорошенько всех отругал, а Юрке, который, запутавшись, загнал мяч в собственные ворота, пригрозил нарядами и сказал:

— Так, Жилков Юрий! Пока не научишься играть в футбол — не демобилизуешься!

Новичков еще не распределяли по батареям, и вся их «боевая работа» — собирать на болоте колоды.

Там их бессчетное количество — выбрасывает штормами. Солдаты бродят по болоту, вслугивая диких уток. Упругие кочки пружинят под сапогами, плечо сомлеет, пока донесешь сырую колоду, а когда сбросишь — наливается тяжелой силой. Над болотом, бывает, криква пролетит. Крылья раскинет, не шелохнется, словно спит в воздухе.

Прокопу кажется странным, что вместо боевой учебки им приходится выуживать колоды из этой грязи. Нетерпеливо спрашивает «старых» солдат: когда же начнется настоящая служба?

Те смеются:

— Уже началась...

Только закончится утренний развод, отправляются на болото. Вместо шинелей им выдают удобные бушлаты. Песчаная дорога идет лесом

вдоль озера, из которого берут воду для питья. Прокоп часто оглядывается, изучает остров.

В болотистых балочках растут березы, на холмах — низенькие странноватые сосны. Пахнет разопревшей хвоей. За болотом, за песчаными дюнами — море. Вдоль берега пасутся кулички, неподалеку, на косе, садятся голгоучище гуси — птица осторожная, пугливая. На выстрел из охотничьего ружья не подойдет...

Ходить в сапогах тяжело. Жесткие сапоги вязнут в песке, пот заливает глаза. Уже знают главное — держать строй, тогда не отстанешь. А Прокоп насвистывает по дороге походный марш — так легче идти. Вспоминает слово «поход», и оно оборачивается новым значением.

3

В начале июня похолодало, глубокий мокрый снег засыпал плац и падал, падал... Долго месили его на тренажах, осваивая строевые приемы. Несколько отделений занимались одновременно. Одни шли шеренгой, подоткнув полы шинелей за ремень, — изучали «медленный строевой». Другие старательно козыряли друг другу, совершенствуя «подход — отход».

Лучше всех среди новичков ходит Аин Рааг — белесый гигант эстонец. И форма на нем ладно сидит, как будто уже год или даже больше прослужил, не то что на некоторых...

А у Прокопа при команде «на месте шагом марш» правая нога почему-то подскакивает выше левой. И как ни старается, ничего поделывать с этим не может. Посмотрит Прокоп на ногу, как на врага, и только плечи приподнимет, удивляясь. Шоферы смеются:

— Надо ему правую ногу отрегулировать.

Хоть и не все получается, хоть и ломит в коленях и печет ступни, Прокоп, однако, ходит на строевые с охотой. Любит чеканный шаг и военные команды, пропетые стальными головами сержантов. А более всего любит и ждет с нетерпением ту часть занятий, когда отделения перестраиваются, сержанты становятся во главе строя и потом проходят всем подразделением. Тогда охватывает Прокопа новое для него ощущение строя, и в ритмическом топоте сапог слышатся звуки солдатского марша. Того самого, под который прошел месяц назад на дарницком сборном пункте. Медью вспыхивали тарелки, бухал барабан. Остро пронизывало сознание того, что он уже солдат. Девчата глядели на него, а во взглядах — столетия девичьего ожидания. И трубы славили подвиг.

Прокоп покосился на соседа по ряду:

— Аж страшно, такая музыка!

Во главе команд — по-военному бравые, сдержанные и артистичные сержанты. За сержантами движется пестрое воинство: в пиджаках, рубашках, сапогах, в фуражках и без фуражек. Круг прошли под оркестр, еще два — под барабан. Ребята старались: высоко задирали носы, что есть силы грохали каблуками об асфальт. Каждый, как умел, старался показать свою причастность к воинской жизни, к могучему ритму солдатских шагов, к походному маршу, который играл в свое время отцам и братьям, а теперь заиграл для них. Шло их, казалось, несчетное количество — движение эпическое. Даже холодок пробежал у Прокопа на душе: увидел нечто сокровенное — народ, идущий учиться воевать...

И на строевых занятиях, которые проводились без оркестра, всегда клокотал в груди Прокопа походный марш. Возникало ощущение того же эпического движения. Видел перед собой солдатскую дорогу, по которой шли, веками шли солдаты с мыслью о том, что когда-нибудь придет ей все-таки конец. Видел эту дорогу, одна сторона которой, словно солнцем, освещена сложной из миллионов солдатских мечтаний вечной мечтой о вечном мире. И шел по той дороге...

Красив перед строем их двадцатилетний старшина. О таких солдаты говорят с уважением: армейский человек, военная косточка. Сила в нем какая-то особенная — не такая, как бывает у спортсменов. Ни метрами, ни секундами, ни килограммами не измерить ее — отличается совершенно иным: беспредельно решительна и вынослива эта воинская сила.

В первые дни, когда Прокоп ходил будто оглушенный, когда слабость подтачивала, словно болезнь, и хотелось лишь одного — спать, старшина успокаивал:

— Всем так, пока не сойдут лень и жирок гражданки, а уж тогда обростешь мускулами солдатскими.

— Не такими, как у всех? — не совсем понимал тогда Прокоп.

Теперь, глядя на старшину, начинал понимать.

4

Жажда писать жгла и сушила его. На строевых занятиях он подумал: а что, если свой первый армейский очерк написать о молодом старшине, в котором живет нечто невыразимо солдатское? Интересно... И сгладилось бы досадное воспоминание об их первом остром разговоре, может, даже подружился бы... Колесился. А Юрка Жилков словно уловил его ко-

лебания. Завел как-то к себе в кинобудку и говорит:

— Слушай, Войченко, вижу, не пошла у тебя служба. Не умеешь тылы использовать. Я, к примеру, на гражданке киномехаником работал — и здесь, как видишь, Чистая работа, и отношение ко мне уже... ну, в общем, другое... А ты — журналист. Врезал бы в газету про нашего старшину — и пошла бы служба!

Прокоп отмахнулся шуткой, но в воскресенье подошел к раскрытой двери каптерки:

— Товарищ старшина, разрешите войти?

— Да!

— Разрешите обратиться?

— Давай обращайся!

Старшина сидел без сапог, примерял галифе. Поднялся. Узковато, ноги кажутся кривыми. Не то. А ну, может, вот эти подойдут? Натянул на себя — вроде хорошо.

— Товарищ старшина, я хотел интервью...

— Зови Жилковых! — перебил Прокопа.

Зашли братья Жилковы. Старшина долго присматривался, пытаясь разобраться, где Аркаша, а где Юрка. Должно быть, это ему так и не удалось, потому что хмыкнул и спросил:

— Который из вас шьет?.. Можешь так сделать, чтобы этих бутылок не было? — и щипнул галифе.

Долго советовались, как шить: идти ли по рубчику или как-то иначе. Прокоп тем временем слонялся по каптерке, не зная, что делать.

Когда Жилковы, откозыряв, наконец вышли, старшина глянул на Прокопа:

— Слышал. Писать, значит, обо мне хочешь... — и подмигнул с улыбкой: — Что, не терпится писать?

— Не терпится...

— И мне не терпится за трактор сесть, ой, как хочется... Только слушай, Войченко, не умею я эти интервью... Не знаю, что говорить...

— Расскажи о себе.

И уселся у столика записывать.

Старшина — отличник боевой и политической подготовки. Сибиряк. До призыва был в колхозе трактористом, звеньевым, сына имеет, тоже будет старшиной. Все.

— А о службе, товарищ старшина?.. — попросил Прокоп.

— Служба — везде служба. Первый год, конечно, самый трудный. Все.

— А о полигоне, товарищ старшина?..

— Был на полигоне: жарко, сначала воды много пили, кое-кто зноя не выдерживал, падал. Но тут же и поднимался, потому что надо работать. Потом привыкли, солдат ко всему привыкает...

Прокоп вырастал в собственных глазах и в глазах солдат, то и дело заходивших в каптерку: не каждому новичку такая судьба улыбнется — беседовать со старшиной, расспрашивать его о том о сем. Усмехаясь, Прокоп думал: «Вот оно как, а кое-кто хотел доказать, что я тут просто рядовой. А я все-таки и журналист...» В этот миг старшина посмотрел на часы:

— Так, Войченко! Через полторы минуты в казарме уборка. Вымоете с Жилковым пол в красном уголке и соберете бумажки вокруг казармы — хотел бы я знать, кто их там разбрасывает...

Интервью закончилось.

5

Писал ночью, когда был дневальным.

Хотелось написать необычно. Так, чтобы даже «старые» солдаты, которым через полгода увольняться в запас, покачали головами и уважительно сказали: «А дело знает...»

Ударный зачин пришел только под утро. На папиросной бумаге (другой не было у замполита) написал, как старшина перед призывом пошел в тайгу, лег грудью на землю у родничка и напился из него, и долго лежал, а потом поднялся и направился в военкомат.

Набросать пейзажик тайги не проблема. Не так уж важно, что Прокоп никогда не видел ее — пригодились готовые, еще на гражданке задуманные абзацы о деревьях, времени, тишине. Несколько хороших, тоже из гражданки, метафор, правда, «с боем», а все же прилепил к старшине.

После утреннего развода подразделение строем отправилось на позицию, в казарме, кроме дежурного и дневальных, никого не осталось. Прокоп раскрыл все форточки и сел писать о детских годах старшины и его любви к лошадям. Любил ли лошадей старшина, Прокоп точно не знал, но какое это имело значение! В конце концов, у него было внутреннее убеждение, что старшина все-таки любил их.

Детство и лошади прозвучали мощно. Прокоп поставил точку и радостно побежал с дежурным в столовую — расставлять миски и кружки для подразделения, которое вот-вот должно было прийти на обед. Очерк удался.

На следующий день попросил у замполита бумаги, переписал начисто и послал в редакцию армейской газеты.

Вскоре все на острове знали, что Прокоп написал о старшине. Авторитет его вырос. Даже в наряд на кухню ставили через раз. Как только приходила почта, дневальные оповещали его первым: еще нет...

Когда очерк вышел (с фотографией старшины дали, подпись — рядовой Войченко!), Прокоп с номером в руках побежал в каптерку. Старшина встретил его хмуро. Глядя в сторону, поднялся:

— Какая на мне одежда, по-твоему?

— Гимнастерка, галифе, товарищ старшина.

— А на ногах?

— Сапоги... — Прокоп был в недоумении и предчувствовал беду.

— Что же ты меня в детских штанишках перед солдатами выставил! Расписал, размазал! А вранья — как грязи на сапогах в осеннюю пору...

Не дав Прокопу возразить, продолжал:

— Ты про солдат во как обязан писать! — стиснул кулаки, аж пальцы побелели и хрустнули. — Языком мужчин, а не выдрючиваться, как пудель в цирке. Если бы тебя в разведку послали, а ты вместо того, чтобы установить дислокацию противника, ручейками и лошадьми залюбовался да о них бы и доложил? Да расстреляли бы!

Сел взволнованный:

— Ну ладно, ничего, послужил — научишься писать. Сержанты помогут. А сегодня после отбоя поработаешь. Дровяной склад знаешь где? Там напишите с Жилковым дрова и занесете на кухню.

В белую ночь, распиливая с Жилковым дрова, думал Прокоп о языке мужчин, о слове, которым надо писать про солдат.

6

В воскресенье должны были принять присягу. За день до этого стирали в море форму.

Вода теплая, катит легонькие волны, солнечно, только ветер гудит в соснах. Начался прилив, на берегу постепенно накапливались лужи. Разделись, вошли в воду по колени — все в чересчур просторных трусах и майках, белые, худые. Мягкий песок коснулся натруженных ног. Черное море вспомнилось...

Стирали, разложив форму на досках. Намокла, стала тяжелой, в карманы набился песок, приходится долго выполаскивать. Справившись с брюками, Прокоп развесил их на низенькой сосне против ветра. Потом выстирал пилотку и носовой платок.

Пока форма высыхала, солдаты устроились в лесочке, разлеглись на свежей траве. Сразу же заснули. Искупались уже перед возвращением в казарму. Море мглисто-голубое, цвета льда. Вода тяжелая, почти несоленая, словно

речная. Далеко от берега заплывать нельзя: сильное течение, подхватит и унесет в море.

Когда Прокоп снял с сосенки форму, она была сухой, свежей, слегка полинявшей, приобрела почти такой же цвет, какой бывает у одежды бывалых солдат, стала как будто меньше, зато более ладной.

В воскресенье построились для принятия присяги. Пришел командир в новенькой парадной форме, при медалях, явились и остальные офицеры.

Красную книжечку с текстом присяги Прокоп держал в правой руке, в левой — карабин. Страницы красной лентой связаны — чтобы ветер не вырвал. По-воинскому чеканил слова, они отдавались эхом, отзываясь в груди медными звуками походного марша.

Возвратился в строй на свое место. А слова присяги исходили уже из других уст, и не угасали звуки солдатского марша.

Этот день командир объявил выходным. После церемонии — делай, что хочешь. Прокоп решил: к морю, загорать. По дороге забежал в пекарню — там уже третий день работает земляк Панченко.

Открыл дверь — и запахло хлебом. Панченко, присыпанный мукой, как заправский мельник, дал Прокопу горячую краюху. Прокоп спрятал хлеб за пазуху и почувствовал грудь его тепло.

На берегу разделся, лег на солнышке и засмотрелся на склонившиеся сосны. Сосны гудели будто изнутри и верхушками, живица стекала медными искрами. Такие же искры пламени в морских волнах, на крыльях чаек, словно рассыпались на медные капли звуки солдатского марша. Из этих звуков — остров. Из этих звуков — быть отныне его слову... Этим словом будет писать он о солдатах...

КАРАУЛЬНЫЙ КРУГ

1

Дни выстроены в календаре, словно солдаты на марше. Месяц за месяцем, будто батальон за батальоном переходят рубеж времени.

На острове осень, она не дышит запахами урожая, вызревшего сада — солдатская осень.

Гудит море, затихают ключи — это уже на снег, на морозы, на метели, на долгую северную зиму, при мысли о которой новичкам даже страшновато: не раз здесь, бывало, и летом мерзли.

На болоте полным-полно клюквы, морошки, по черным губам личного состава можно пред-

положить, что и черника хорошо уродилась в бору.

Солдаты утепляют казармы, чинят кочегарку; жужжит на берегу моря бортовая машина — собирают выброшенные волнами колоды и везут к пекарне, где пилят и колют; на фасаде клуба желтой морозоустойчивой краской обновлен лозунг: «От устава ни на шаг!»

Идут разговоры о зиме. Приходят в посылках теплые носки, рукавицы, свитера, которые все равно старшина не разрешит носить под гимнастерками — «не положено». А еще приходят яблоки, пахнущие осенью...

Осенью — тяжелые ночи, трудные караулы. А Прокопу они по душе.

Перед нарядом каждый моется, ибо караул — священное место, надлежит заступать чистым. Отворив кованые железом двери оружейной, дежурный по дивизиону выдает карабины и подсумки, а старшина — новенькие патроны из цинковых ящиков.

Развод — словно купель, которая смывает души все жизненные неприятности.

— Караул и внутренний наряд, ррйсь! Смирно!!! Для встречи... на кра-ул!

Ряды вздрогнут, приняв строгий вид, прощелестят шинели, звякнет оружие, кто-то лихо выбьет руками «два счета», как положено, когда карабин берут «на караул», штыки выростут над головами.

А в казарме натоплено, и кто-то неумело играет на баяне. С позиции возвращается под строевую песню соседнее подразделение — солдаты выплывают из ночного мрака, словно Черноморовы витязи из бездны морской. Идут отдыхать. Заснет остров, убаюканный морской волной, заснет Большая далекая земля. Не будешь спать только ты — часовой.

2

Нигде не думается лучше, чем в карауле.

В просветах между тучами звезды превращаются в изменчивые ледяные знаки, как будто возникают и гаснут бриллиантовые формулы жизни. Их разделяет невидимая пылающая линия границы. Прокоп видит ее. Для него, часового, это грань между Добром и Злом. Конечно, среди объектов, сданных Прокопу под охрану, небесные сферы не значатся. Но, так или иначе, он охраняет и их, во всяком случае, думает о небе — все-таки зенитчик... Порой Прокопу кажется, что ему доверили охранять весь мир. Похоже, что способен уловить опасность душой — нет на свете ничего более чуткого, чем душа часового. Слышит все шорохи и звуки на своем посту.

У коцегарки промелькнула тень. Просеминал на коротеньких ножках единственный на острове кот Альбатрос. Живет он под крышей караульного помещения, появляется только ночью. Рассказывают, как-то была тревога, и солдаты случайно оставили на берегу взрывпакет. Альбатрос из естественного кошачьего любопытства подбежал понюхать. Взрыв нанес ему тяжкую психическую травму, кот стал избегать людей и одичал. Более всего боится сирены. Как завоет, так Альбатрос стремглав мчится к самой глухой щелке, залезает в нее, дрожит и мяукает, как в марте...

Много чего передумает Прокоп на посту. Думает о воинской жизни... Собственная душа напоминает ему песочные часы, которые вдруг перевернули. Все, чем жил, что знал, медленно пересыпается из той, прошлой, гражданской жизни, уже такой далекой и нереальной вроде, — в нынешнюю, армейскую. Кажется Прокопу, что он всегда был солдатом. Всегда — в этой своей серой неловкой шинели, в гимнастерке фронтового образца. Разве когда-то было иначе? Разве может быть иначе? Разве когда-нибудь будет иначе? Конечно, будет. Пройдет зима, минет весна... Да, но никогда не минет в душе его это, солдатское. И как бы ни повернулась его судьба, он сейчас часовой. А перед ним пылающая линия Добра и Зла, которой разделен мир. А позади самое святое и самое дорогое, что защищаешь штыком и сердцем.

Думается Прокопу о солдатской судьбе. О солдате-отце, прошедшем от Сталинграда до Берлина простым автоматчиком. Став сам солдатом, он полюбил отца как-то глубже, осмысленнее. Собственно, он все теперь любит — если уж любит — более осмысленно и глубоко. С тех пор, как стал солдатом.

Нет, не идеализирует он свои армейские будни. За минувшие несколько месяцев испытал и разные солдатские невзгоды. Немало увидел такого, на что принято жаловаться. Узнал цену всякому, но настоящую цену. И чем дальше, тем больше прикипал сердцем к армейской службе.

Караул за караулом. Круг за кругом обходит пост. Мысль тоже совершает круг. Словно на гончарном круге, формируется, становится выразительнее образ этой жизни, которую Прокопу хотелось постичь, о которой мечталось написать. Прокоп собирал новые впечатления и обогащал старый замысел. Был переполнен предчувствием истины. Ну, пусть не большой, только для него. Зато добытой трудно и честно, не выуженной из прочитанных книжек, — она вызревала в солдатском труде. Когда откроется она? Может, когда пройдет Прокоп свой послед-

ний караульный круг? Предчувствовал ее, и это предчувствие новым смыслом наполняло его солдатские дни. Вслушивался и всматривался в эту жизнь так пристально, как, выйдя на пост, прислушивается и присматривается часовой.

Будь начеку, Прокоп! Смотри в оба, Прокоп! Здешняя ночь глуха, коварна. Ты один.

Правда, не совсем один, где-то на соседнем посту Аин Рааг. Он услышит твой выстрел.

Холодное, словно лезвие штыка, ощущение опасности. Придя в первую караульную ночь, оно тоже стало неотделимым от его солдатской жизни. В руках карабин, заряженный десятью боевыми патронами, в левом кармане гимнастерки последние письма. Одно из дому, второе от девушки, о которой впервые подумал как о будущей жене.

3

Прощался с Верой напротив железных, с красными звездочками ворот военкомата. Больше никого не было, он ведь просил, чтобы не приходили. Прокоп долго не различал ее в толпе, а когда заметил, поздоровался, удивленный. Она подошла несмело, какой-то особой своей походкой, в которой угадывалась сила молодого девичьего тела. Невольно залюбовался ею — и высокой фигурой, и русыми длинными волосами. Впервые за эти дни стало больно и грустно, что уезжает. Смущаясь, Вера зашептала:

— Извини, Прокоп...

— Что извинить?

— Что пришла. Ты не хотел, я знаю... А вот пришла...

Впопыхах вытаснула из сумочки ложку и кружку:

— Может, забыл, а без этого в первое время не обойтись...

Прокоп молча смотрел на Веру. Смотрел — не узнавал своей всегда молчаливой подруги-однокурсницы. Подруги — не более...

Глаза заплаканные, — видно, ночью не спала. Поцеловал ее просто, по-дружески, а может, жалея. Вера припала к его груди и заплакала, горько и будто обиженно. Утешал, гладил русые тяжелые волосы. Не мог утешить. Накричал. Девушка, словно испугавшись, подняла покрасневшее, мокрое от слез лицо:

— Я уже не плачу...

Затихла сразу, как ребенок. Только всхлипывала.

Позвали:

— По машинам!

Вера снова зашлась плачем. Какая-то женщина, прощавшаяся с сыновьями, сказала за спиной Прокопа:

— Наверное, невеста...

И уже здесь, на караульном кругу, он подумал: наверное...

Ногам тепло в валенках, греют, как печка, воротник кожуха приподнят. Постовой кожух огромен, весом в пуд, полами касается земли, никаким ветром его не проймешь. Но безать или стрелять в нем неудобно, поэтому часовые не подпоясывают кожух, не застегивают его на пуговицы; при необходимости легче выскочить из него.

Ступит Прокоп три шага — остановится, штыком слепо обведет темноту вокруг себя. Порой слушает, не поворачиваясь, спиной. У сооружений с техникой задерживается подольше. Сбросив рукавицы, пощупает опломбированные замки. Руки сводит, но пальцы чувствуют — слепки целы: все, значит, нормально.

За смену нужно семь раз обойти пост. Если считать шаги, можно приблизительно вычислить, который час (брат, на пост часы начальник караула почему-то запрещает, говорит, «не положено», но, конечно, врет). А сколько нужно обойти кругов, чтобы повернуло на зиму, на весну?..

Поставив карабин прикладом на землю; зажал между коленями; обеими руками, кряхтя, поднял воротник шинели, а ворот кожуха опустил — так лучше слышно. Глаза привыкли к темноте, уши — к шумам. А шумы какие? Тарахтит дизельная, вырабатывая для острова свет, да море гудит басовой струной. Мысленно повторил, что предпримет в случае пожара, нападения. Как будто завел в себе боевую пружину. Больше об этом не вспоминал, в случае чего уже будет действовать автоматически.

Узкие позиционные переулки с обеих сторон обложены колодами. Их следует знать, иначе недолго и заблудиться. Прокоп сориентировался бы даже с закрытыми глазами. Не спеша обходит боевые машины, замаскированные на зиму белыми сетями склады. В окнах кочегарки плещет отблеск пламени. Его беспокойные пятна маковым цветом ложатся на снег под окнами. Кочегарка — самый большой соблазн для постовых. Ох, как же хочется заскочить в тепло, отогреться...

У каждого часового есть такое место на посту, к которому он приближается, преодолевая внутреннее сопротивление, и сердце колотится, даже через кожух слышно. Прокопа пугает старый дзот над морем. Убежден: если случится с ним что-то в карауле, если уж суждено, то непременно у дзота.

Глазами шарит вокруг дзота, по мертвым старым березам — корни их вымокли, сердцевина сгнила, только кора осталась нетрону-

той — похожи на пустые рыцарские латы. Взгляд скользнул по морю, дальним уголкам поста и уперся в черный бушующий купол неба. Откуда-то из глубины его несло осеннее лебединое: у-у, у-у... Что это они? Отозвалось где-то в стороне, над бором, над лесом, над морем. Все небо в лебедином лете, тревожном шелесте крыльев. И так же неожиданно все исчезло.

Спать... Сутки в наряде — вроде бы ерунда для солдата. Но с тех пор как подразделение вне очереди заступило на боевое дежурство, почти каждую ночь — «Готовность!». После боевой работы солдатам разрешается отдыхать до завтрака, но разве это сон? Недоспанные часы напоминают о себе ночью, в нарядах. В конце концов, можно бы чуточку и подремать, миг сна возвратит силы, однако не предусмотрено уставом...

Мысль стала обрываться и путаться. Так всегда на ночном дежурстве. Где-то на очередном круге мысль притормаживается, одно остается в ней: опасность. Только что замкнул четвертый круг. Еще три, самые трудные.

С севера дохнуло обжигающим холодом, лицо и глаза деревенеют. А когда полы кожуха раскинуты, прошивает насквозь, до косточек. Правду говорят, на посту легче стоять в сорокаградусный мороз, чем под ветром.

Прокоп движется боком, словно дверь хочет вышибить плечом. Доходит так до бомбоубежища. Теперь сиверко дует в спину. Стало теплее. А Прокоп еще и отбил десяток строевых шагов, считая про себя: раз-два-три-и. Строевой ритм согрел, даже мысль потекла иначе. Ненадолго, правда. Снова сон насаждает, клонится голова, смежаются веки, глаза заливают слезами, нет уже сил смотреть, слушать...

Ветер вырывает карабин из рук. Ноги тяжелеют. Все в Прокопе будто сжалось, дрожат все жилы. Но сознание четко фиксирует ночные тени и шумы. Прокоп знает: это нормально, так бывает каждый раз, выдержит, как выдерживал до сих пор. С этой мыслью прошел еще два круга. Ощупывал замки и пломбы, видел странный прозрачный сон и во сне разговаривал с Верой.

Наконец в караульном помещении (оно видно с поста) засветилось еще одно оконце — будят смену.

Клац! Бряц! — у стойки зарядили карабины, примкнули штыки. Вихляя приближается лучик фонаря.

— Стой! Кто идет?

— Начальник караула со сменой!

— Начальник караула — ко мне, остальные — на месте! — разворачивается уставный диалог. — Осветить лицо, осветить сзади, шаг

вправо, шаг влево, смена, продолжать движение!

По всем правилам караульной службы пост сдан и принят.

Клац! Бряц! — на стойке, занесенной снегом, высветленной лимонным светом караульного фонарика, разрядили оружие.

4

Возвратившись с поста, первым делом — сбрасывай выстуженную шинель: больше не греет — холодит. Лицо, руки, все тело томительно оттаивают в тепле. Прокоп прислоняется к горячей батарее. Карабин тоже оттаивает, покрывается мелкими капельками, отпотевает, словно кринка, принесенная из погреба.

Тихо в караулке. Уставом запрещено слушать радио, петь, громко разговаривать. Тишина нужна, чтобы услышать, если вдруг на посту прогремит выстрел.

— Дзень-дзинь! — часовой на первом посту проверяет сигнализацию. Два звонка — нормально. Сейчас просигналят и со второго поста.

Механизм караульной службы — смена дежурства и отдыха — от механики человеческой жизни. Здесь только все ускорено: за сутки пройдут четыре маленьких караульных периода, четыре смены.

Вместе с Прокопом — Аин Рааг, ростом, статью, мужественным, хотя и кирпатым лицом похожий на викинга. Аинова фигура напоминает Прокопу героев эстонских рун. И родом Аин из Выру, где написал Крейцвальд знаменитый «Калевипоэг». Ни одна гимнастерка не сходится на белой Аиновой шее, специальным приказом командира ему разрешено не застегивать гимнастерку на верхнюю пуговицу.

Прокоп пишет письмо. Аин, не разбирая, чистит карабин (разбирать в карауле запрещено). Напевает эстонскую песенку, покачиваясь на табуретке. Иногда так трогательно выводит... Чистит шомполом ствол и каждую минуту заглядывает в него, подставив с другой стороны ногу.

Прокоп удивляется:

— Зачем так чистить? Еще на пост? Протри с мороза — и достаточно, а глянец наведешь в казарме.

Не прекращая работы, продолжая напевать, Аин улыбается и подмигивает Прокопу. Чистота — один из главных его принципов. Сапоги натирает гуталином и снегом (солдатский секрет) до того, что говорят, — у самого старшины нет такого блеска! Форму стирает чуть ли не

ежедневно, от чего она стала почти белой, как и его волосы.

Лицо у Аина тоже белое-белое, ни пятнышка на нем. Глянешь на это лицо — светлее станет на душе, глянешь на богатырские плечи — сам становишься сильнее. Слово у Аина аккуратное. Снежной свежестью веет от него,

Собрав вместе реденькие белесые брови, Аин в последний раз заглянул в ствол, проверил затвор, клацнул курком, убрал замасленную газету и застелил чистую. Управившись, подмигнул Прокопу:

— Пока начальник караула не видит, немножко потренируемся.

Широкой ладонью взял карабин за штык и поднял в вытянутой руке. Держит. Ноздри раздулись, лицо сделалось серьезным, даже жестким. Прокоп считает. Когда дошел до тридцати, рука Аина отекала и задрожала жилами. Он что-то сказал по-эстонски и опустил карабин. Потом Прокопу:

— В прошлый караул тоже было тридцать. Больше всего нужно бояться, если сегодня получается так, как вчера. — И усмехнулся: — Ладно, служба долгая, еще исправлюсь.

Прокоп и Аин подружились давно, а началась их тесная дружба так. В день своего рождения Прокоп раскрыл глаза, как всегда, минут за десять до подъема, влез в брюки, намотал портянки, надел сапоги и вдруг увидел, что его замусоленная гимнастерка выстирана и выглажена, как на парад, а внутренний кармашек оттопырен. Отстегнув пуговицу, вынул темно-красное, словно лакированное, яблоко. Он еще раздумывал над этой странной диковиной, когда Аин Рааг, спавший рядом, койка к койке, протянул ему свою огромную, тяжелую руку. Держа Прокопову ладонь, сказал:

— Я знаю, к юбилею готовят подарки, музыку, цветы. У меня ничего нет, постирал тебе гимнастерку... Еле дубли, будь молодцом!

Может, оттого, что в праздники люди становятся чуть сентиментальными, или потому, что во все свои дни рождения он не получал подарков более ценных, чем эта выстиранная ночью форма, но у Прокопа не по-солдатски защемило в глазах. Удержался, со всей силой пожал могучую руку Аина...

Курить вышли в тамбур. Аин достал пачку «Северных», чиркнул спичкой о каблук. На звук спички выглянул из своей комнаты начальник караула.

Его зовут Захар — должно быть, потому, что настоящего его татарского имени никто выговорить не может. Не вышел собой Захар ни высь, ни вширь. Выцветшая гимнастерка старого образца вылезает из-под ремня, достаточно Захару,

присесть или нагнуться. Шинелька подрезана так высоко, что он без труда может достать спички из карманов галифе. Все чуть тесновато, подогнано на Захаре, кроме сапог. Носит он сапоги яловые, на толстых каблуках, чтобы казаться выше, с такими голенищами, что ноги болтаются в них свободно, как языки в колоколах.

Под конец службы отпустил Захар усики, реденькие, как у кота, старшина грозился стереть их конторской резинкой.

Более всего любит Захар загадки. Подойдет к кому-нибудь из солдат, толкнет тихонько локтем:

— Слушай! Подоткнутый, подобранный, по хате скачет, замедает?

— Веник!

Захар подходит ближе, подталкивает локтем:

— Думай!

И, довольный, не выдерживает:

— Все равно не догадаешься. А это — рядчик.

И тоненьким голосочком засмеется.

Затянувшись папиросой раз-другой, Захар тронул Прокопа локтем:

— Слушай, Войченко! Ни мышь, ни птица?

— Кажан, Захар, летучая мышь.

— Думай! — тычет нетерпеливо локтем. — Не кажан, легко догадаться. Ну, не знаешь?

— Если не кажан, то не знаю.

— Кот Альбатрос!

Дзень-дзень-дзень — тенькнула сигнализация, оборвала смех.

Один (третий) звоночек отличал этот сигнал от мирного «проверка». Часовой, подумалось, зацепил что-то там рукавом шинели. Но сигнализация зазвенела снова.

Захар молнией бросился к пирамиде с оружием.

Только что со сна, караульные заняли оборону в комнате начальника. Захар, Аин и Прокоп во весь дух побежали на пост.

5

Штыки примкнули на ходу, зарядили сразу на боевую. Шинели не успели натянуть, бежали в одних гимнастерках. А ветер, метель вьюнит. Быстро бежали. На мостике Прокоп, поскользнувшись, упал. В эту минуту на втором посту раздался выстрел. Захар остановился, окаменев, словно охотник, заметивший дичь. Говорят, он был охотником, сызмальства охотился в богатых лесах Приуралья (должно быть, потому и стрелял лучше всех в гарнизоне). Он владел искусством точных движений (Прокоп заметил

это только сейчас) — особым искусством охотника и воина.

По звуку, колющему, как из детского пистолета, определили направление выстрела: от моря. Стреляли из карабина.

На посту их остановил голос часового:

— Стой, кто там идет! — Молодой солдат-литовец еще не научился спрашивать по уставу.

Вырос перед ними, огромный, словно изваяние, в кожане, наставил штык, потом, узнав, взял карабин «к ноге»:

— Двое чужих, может, трое. Кричу: остановиться! Потом выстрелил сразу, ночью ведь не положено давать предупредительный, правда, товарищ сержантус? — он все слова передельвал на «ус», как средневековый украинский школяр.

— Куда исчезли?

— Как будто в сторону дизельной, товарищ сержантус Захарус.

— Так... Прикрывай постус...

Выворачивая ноги на кочках, спотыкаясь о кирпич и проволоку, разбросанные возле кочегарки, бросились к дизельной. Прокоп бежал экономно, как спортсмен, знающий, что бежать еще долго и надо беречь силы для последнего, решающего момента; Захар как бы крался, подбравшись, хищно, отбрасывая ноги далеко назад, словно бежал на коньках; Аин, наоборот, выбрасывал ноги вперед, как рысак, бежал, расправив могучую грудь.

Дизельная.

— Прокоп — в одну дверь, я — в другую, Аин ведет наблюдение за окнами!

Нечеловеческий рев дизельной, грохот сапог о чугунный пол. Обошли каждый мотор. Дежурный дизелист, выслушав их, даже не поднялся с железного стульчика, на котором дремал. В дизельной никого не было, появились бы чужие, он бы их тут же задержал и позвонил в караулку. Дежурному по гарнизону доложили? И уважительно похвалил Захара за аккуратность. А может, часовому показалось?

Прокоп и Захар выбежали из дизельной.

— Ну что, Аин?

В ответ Аин молча пожал плечами. Прокоп знал: на боевой работе, когда опасность, словоохотливый Аин замолкает, тогда и слова из него не вырвешь, пока все не закончится. Он весь дрожал (должно быть, от холода), на погонах у него лежал снег.

Может, и вправду часовому показалось?

— Уснул и испугался. Спите, бесовы дети, на посту! — забурчал Захар.

В одной руке он нес карабин, в другой — караульный фонарь,

Прокоп забросил карабин на плечо. Обрывки мыслей пролетали трассирующими пулями. Безголосая сирена выла внутри. Как будто стал бесплотным, не чувствовал ног, глаз, рук, карабина в руке.

Набирая за голенища снег и песок, вылезли на песчаный холм. Колючие снежинки секли лицо, падали быстро, как секунды. Ребята сняли шапки, вытерли вспотевшие стриженные головы.

Начинало светать. На горизонте появилась узкая, как амбразура, полоса.

Захар тихонько свистнул и начал спускаться с холма, Прокоп и Аин — за ним. Их остановил выстрел. На этот раз, как из хлопущи, Захар карабином указал направление.

Позиция отгорожена от моря песчаным валом, на котором растут, упершись корнями в грунт, причудливые сосны, издалика напоминающие взметнувшийся от взрыва столб земли. Свежий след на крутом склоне, неровно присыпанный снегом. Наконец-то! И сердце застучало сильнее. След ведет к дзоту.

— Эй, в дзоте! Выходи!

Снова, и так — трижды.

Молчание.

Дальнейшие действия караула понятны: брать. Но идти должен один, остальные будут подстраховывать. Кто, Захар?

Прокоп и Аин ждали приказа. Захар поставил приклад карабина на носок своего большого сапога, поддерживая ладонью шпичку штыка, крутанул наудачу. Ребро штыка показало на Прокопа.

Старый дзот. Недаром сжималось сердце, когда часовым подходил к этому месту. Ишь, что значит предчувствие...

Прокоп осмотрел карабин, проверил, есть ли в патроннике патрон, зачем-то собрал за спиной складки гимнастерки, поправил шапку.

Шел примерзлым болотцем, придерживаясь рукой за хрупкие стволы омертвевших берез. Лез крутым склоном. Под снегом — песок. Раз или два сползал вниз, набирая в голенища песок и снег. Разозлился, страх вроде бы отошел. Обошел дзот сбоку. Оглянулся: Захар держит на мушке черную пустоту дверей. Полез увереннее.

Измазавшись песком и ободрав руки, Прокоп выполз на гребень вала, почувствовал свежий запах моря, близкий его грохот.

Ноги слегка дрожали, подгибались, тупо переставлял их. По правую сторону — бесконечное ревущее море, далеко от берега поднимаются белые ряды волн и идут ряд за рядом, словно в атаку. Почувствовал и себя в этих рядах.

Невидящим оком смотрели куда-то мимо Прокопа выбитые двери дзота. Тут он сообразил, что именно этим, слепотой наведенного ствола, пугал дзот.

Рвет сосны ветер. Где-то рядом треснула, сломалась сосна, крона с мягким шипением упала на снег. Прокопа бросило на землю. Вскочил, злой на себя, бок — в снегу. Не задумываясь, ринулся к дзоту. Обрывки бессмысленных мыслей: «Что отец сейчас делает? Должно быть, только что проснулся, возится на кухне, чтобы домашних не разбудить. Сейчас грянет выстрел и всех разбудит!» Другие мысли — вне сознания, но оставят в памяти след.

Шагов пять шел гребнем холма. Потом прижался грудью к холодным колодам — стенке дзота. Переложив карабин в левую руку, выстрелил в черную темень пол-обоймы (новенькие красные гильзы, вылетая, вспыхивали блеском золотых рыбок). Расстрелял темноту и собственный страх. Быстро, словно подхлестнутый неожиданной догадкой, вошел в дзот, непослушными руками зажег спичку.

Ни звука, ни духа.

Попытался улыбнуться, увидев в дверях Аина и Захара, а в груди что-то растаяло, ноги стали вдруг легкими, будто их не было. И, сознавая все, упал на земляной пол.

— А они здесь все-таки были, — сказал минуту спустя Захар, успокаивая Прокопа. — Вон след в дзот, а вот — из дзота. Видишь, кусты сломаны, снег сбит. Если бы ты был охотником — обязательно заметил бы.

Снова бежали по гребню вала. Дорогу им преградила негустая крона только что сломанной сосны. Свежая рана белела, светилась. Путаясь в ветках, переступили через сосну. Теперь был хорошо виден берег моря. В мутной полутьме, у причальных столбов, едва видимые, маячили две фигуры.

Захар коротко клацнул карабином.

Когда сбежали с холма, Аин упал, покотился тяжело. Дальше бежал, прихрамывая, очевидно, подвернул ногу. Захар и Прокоп оглянулись, заметили, как он закусил губу. Спрашивать ни о чем не стали — все равно не ответит, упрямый, и не отстанет, хоть и болит нога.

Бежали по полосе прибоя, по твердому утрамбованному волной песку. Захар махнул рукой:

— Дать по два предупредительных! Кладите пули поближе, чтобы поняли.

Прокоп бухнулся коленом на песок (надежнее с колена), подкатилась ледяная волна, за-

мочила ногу. Коротко взглянул на Захара — тот легко, по-охотничьи снял карабин, на Аина — он медленно поднимал ствол. И прицелился.

Карабин ожил в руках, Прокоповы выстрелы слились с Аиновыми (Захар не стрелял). Справа и слева от тех двоих поднялись вихри снега. Все стояли не шевелясь.

— Будем брать! — сказал Захар.

Пальцы на спусковых крючках, пошли. Аин захромал еще больше. Может, сейчас начнется то, для чего они солдаты? Крепче стиснули карабины, руки стали тяжелыми. На этот раз Прокоп шел уверенно.

Но неизвестные не сопротивлялись. Они сами пошли навстречу, и тот, что выше ростом, толстяк, заговорил взволнованно и нетерпеливо, с северным акцентом:

— Мы геодезисты, проводим измерения на соседнем острове. Подъехали, думали, может, разживемся у вас дымовыми шашками. Наши кончились, а погода туманная. Военные всегда нам помогают...

И протянул Захару руку.

Захар руки не подал, а вместо этого обыскал задержанных и, не обнаружив оружия, приказал: «Идите!»

Через месяц, когда с Большой земли придет майор читать лекции о международной политике, личному составу Захарового караула объявят краткосрочный отпуск домой. И только тогда солдаты поймут, что в эту ночь выполнили боевое задание.

6

Мужество — это когда знаешь опасность.

Если она известна, однажды пережита, страх исчезает, думал Прокоп, твердо ставя ногу на утрамбованный снег, покрывавший позиционную бетонку, которая звенела под сапогами.

Захар и Аин шли рядом. Захар словно стал меньше, согнулся, тяжело переставлял сапоги, в голенищах которых свободно болтались его тоненькие ноги. Аин прихрамывал, опираясь на карабин, но грудь его, как всегда, была расправлена. И, как всегда, он напоминал Прокопу богатыря викинга. Лица, потемневшие, грязные, похудевшие за ночь, покрылись реденьким юношеским пушком. Посмотрел Прокоп на товарищей и не узнал их лиц. Возмужали. Повзрослели. На год? На два? На десять?

Только теперь по-настоящему почувствовали холод. Захар подошел к Прокопу, толкнул локтем:

— Кто язык имеет, а молчит? — едва послушными губами спросил.

И тут же сам ответил:

— Не угадаешь: солдат, когда замерзнет.

Даже улыбнуться не могли задубевшими губами. Аин что-то пробормотал, впервые за все время.

Навстречу им спешили дежурный по гарнизону, солдаты.

Земля светилась серым, как пепел, утренним снегом. Над бором лебедиными ключами вилась метель. А может, это лебеди летели, теряя перья? Белизна ложилась на шапки, на карабины, на погоны, снег тихонько, как материнская рука, гладил пошершавевшие, будто бы постаревшие лица.

Между тучами светилась звездочка — на всем небе одна, как часовой на посту.

НАУКА ПОВЕЖДАТЬ

1

После отбоя не спится. Стонет, содрогается казарма, свистит в окна метелица. Прокоп тихо шепчется с Панченко, их койки рядом, у окна.

Видать, снега набросает, утром снова позицию чистить... Пришли по льду волки, кочегар возвращался с ночной, видел следы; командир на склоне, где коровник, сделал засаду, притаился с карабином, он хватко стреляет, может, подстрелит... Вчера старшина раздал теплые вещи... Из дому писем месяц как не было. Чего удивляться — штормы, теперь по льду пойдет регулярный транспорт, море замерзло, пусть только лед окрепнет...

— Кому не спится, вставай пол мыты! — наобум бросает Захар, дежурный по подразделению.

Ребята притихли.

На север они ехали в одном эшелоне, в одном купе. Панченко, играя в шашки, сокрушался:

— Украина, Украина! Вот бы напиться водички из кринички... Да хоть просто постоять возле нее — и все.

Когда за окном мелькала левадка, устланная теплыми кувшинками, вздыхал:

— А ведь вечерами тут лягушки поют. Красота!

И мечтал:

— Если действительно в артиллерию попадем, попрошусь наводчиком. И сержантом стану непременно!

В эшелоне и подружились. Панченко задумчивый был, тихий.

На тумбочке дневального зазвонил телефон, резко, тревожно. Захар взял трубку, быстро ответил:

— Так точно! Ясно!

Определили: разговаривает с командиром.

— Ей-богу, среди ночи поднимут! — зашептал Панченко. — У меня и ноги целый день крутило — на учебную тревогу.

— Думаешь, объявят?

— Иди спроси!

— Тогда надо спать.

— Теперь все настроение пропало, — вздохнул Панченко и набросился на соседа слева:

— Чего крутишься, словно черт в бутылке!

И Прокопу:

— Видно, ночные тревоги придумал человек, страдавший бессонницей.

— Надо...

— А, надо... Вспоминаю, только призвался, ефрейтор Кошкин велел налить воду в бочку. Да не из колодца брать, а издалека, из пруда. Носили-носили, потом бежим к нему: товарищ ефрейтор, бочка без дна! «Сам, — говорит, — знаю, что без дна. Носите!» Носили. Это тоже надо? Другое дело на фронте. Там, думаешь, я бы плелся в хвосте?

— Кому не спится, становись на пол! — строже, нежели в первый раз, крикнул Захар, и Панченко затих. Заснул.

Есть тип молодых солдат, которые стоят, выгнув колени назад (наблюдение Льва Толстого). Панченко принадлежал к этому типу.

Не успевает побриться перед утренним осмотром, подшить свежий подворотничок к гимнастерке. Как ни начистит сапоги, а блестит почему-то только один, правый или левый попеременно (а разве докажешь, что просто никудышная кирза попалась!). И выходит, что старшина и командир отделения вынуждены уделять ему больше внимания, подкрепляя слова внеочередными нарядами.

Когда его ругают, лицо Панченко приобретает, по выражению старшины, «защитное выражение». Рот приоткрывается, при этом верхняя губа нависает козырчком, нижняя прячется под него, глаза полусакрываются, волосы становятся дыбом, как иголки у перепуганного ежа. Когда хвалят, переступает с ноги на ногу, мотает головой и говорит: «Еще не то сделаем!»

Любил Панченко полежать, заложив руки под голову, физкультуры не выносил. На физподготовке, когда назначили его в отделение шоферов, говорил: «А что я на этом турнике не видел — запчастей там нет!»

Был пекарем. Сколько напечет хлеба, столько и раздаст солдатам, в столовую не хватало. Раз нехватка, вторично нехватка. После третьего случая пошел в науку к дизелисту.

Прибегает как-то дизелист к командиру:

— Товарищ капитан, разрешите обратиться... Спит Панченко! Точно знаю! А поймать сонного не могу, хитрющий, черт, и чувствительность необыкновенная. Его бы в разведку!

Стал Панченко не разведчиком, а каптенармусом, забрал его под свою твердую руку старшина. Сразу поважнел, а поскольку был хозяйственным и сообразительным, прижился на новом месте. Удавалось ему добывать солянку для казарменной кочегарки даже из той бочки, которую солдаты-строители на ночь поднимали над землей краном. Погорел, выменяв у повара соседнего подразделения парадный мундир старшины на сахар.

И сделался Панченко водителем (шоферов на острове не хватало, а у него права). Услышав, что командир пообещал отпуск тем, кто сэкономит больше бензина, Панченко заправил свой ГАЗ солянойкой и напугав всех вокруг, в черных клубах дыма въехал на позицию.

Запретили садиться за баранку — только ремонтные работы. Он ложился под машину, привязывал руки к карданному валу и спал (это выяснилось позже).

Не пошла служба, что поделаешь...

— Должно быть, не военный я человек, — жаловался он не раз Прокопу, — разве из каждого выходит солдат?

А командир говорил:

— Без таких, как Панченко, войско — не войско, такой черта перехитрит, не то что противника. Будет настоящим солдатом!

2

Топот сапог разбудил Прокопа, команды «Подъем! Тревога!» не услышал. Согласованные сержантские голоса (в них звенела сталь) повели темп до сверхбыстрого «престо». Напялив куртки, шинели, кожанки, солдаты выстраивались напротив оружейной, получали оружие, противогазы, вещевые мешки. Вдруг:

— Смирно-о!

Воет пурга. Командир поставил боевое задание. Резкая команда бросила дивизион в снежную круговерть.

Вегер трубил боевой сиреной. Аин Рааг, вспомнив что-то свое, приложил ко рту ладонь ребром:

— Туру-руру... Рог Калевипоэга...

Панченко съезжился.

— Замерз, Панченко?

— Давно бы замерз, если бы не умел дрожать.

— Держать строй! — Голос командира.

Пурга обернулась вокруг солдат колючими вихрями. В глубине бора падали сосны, шипели, стучали, разламываясь, ветви. Ритмично бряцало оружие. Панченко вздыхал и неслышно ругался при каждой команде «Газы!». Командир забегал вперед, подтягивал отстающих. И беспрерывно командовал:

— Газы!

— Вспышка слева!

— Вспышка справа!

— Вспышка сзади!

В противобазах бежать тяжело. Стекла вмиг запотевают, будто в густом тумане, бежишь и ногами словно нащупываешь дорогу. Резина прилипает к щекам — холодная, скользкая, как поверхность льда. Снимаешь противобаз — хоть выливай из него пот...

Лесная дорога скатилась в овраг, забитый снегом. Его пробежали по-волчьи, друг за другом, ставя ноги в глубокие, выше колен, ямки продавленных следов. Командир следил за «переправой» с холма. Когда выбрались из глубокого снега, в несколько прыжков догнал строй.

Пробежали пять километров, а ему ни о чем, спина ровная, как на параде. Глянут на него солдаты — выпрямляются.

А Панченко захромал, двумя руками схватился за бок.

— Колики в боку. И в другом. Наверное, черти обсели, — жаловался Прокопу, хватая ртом, как рыба, воздух.

— Давай шагом!

Десяток с лишним метров прошли шагом, задние начали обгонять.

— Попробуй бежать.

— Не могу...

Не говоря ни слова, Прокоп почти силой стянул с плеча Панченко карабин, забросил себе за спину.

Догнали дивизион у маяка, тогда и возвратил карабин.

Панченко хрипел, как приотставший конь, ноги неуверенно скользили по замерзшей дороге. Командир, заметив, командовал:

— Шагом!

Передохнули.

— Бего-о-ом марш!

— Не дотяну... — хрипел Панченко

«Держись, еще хоть десять шагов». Первый, второй... «На десятом все-таки упаду». — «Третий, четвертый... Может, обойдется». — «Пожалуй, все-таки упаду». — «Держись!» — «И

ничего не могу поделать, кроме этого «держись». — «Еще два шага! Еще два! Скоро станет легче. Еще два! Еще один! Еще один! Еще...»

Когда обежали причальные столбы, Панченко упал на колени, потом лег на спину. Подразделение остановилось. Где командир? Командир шел к нему, к Панченко, проваливаясь в глубоком снегу. Знал: сила строя в его монолитности, энергия строя начинает спадать, если разрывается связь: ряд за рядом, плечо к плечу, не добежал один — напрасно поднято подразделение, лучше бы отдохнули солдаты, изможденные за день боевой работой, за ночь — нарядями. Как вернуть солдата в строй? Молниеносные мысли: «Угрожать нарядями, высканиями? Напрасно: Панченко отупел от боли и усталости, не подействуют никакие угрозы. Уговаривать? Нет... Что же тогда делать? У каждого упавшего есть силы, чтобы встать, но встает не каждый... Бывают мгновения, когда побеждаешь себя или терпишь поражение — навсегда... Что сильнее боли, разочарования, бессилия?»

Все взгляды на него. Молчаливым строем окружили солдаты Панченко. Под командирским взглядом он, опираясь на карабин, встал со снега. Слабой рукой отряхнул полы шинели, выпрямился как мог.

Была минута большого напряжения для всех. «Что сильнее изнеможения, неверия?»

Командир подтянулся:

— Рядовой Панченко!

— Я! — Вышло, как «га».

— Ведите подразделение!

Такого не ждали. А Панченко даже не понял приказа, стоял, словно оглушенный. И командир крикнул ему в глаза, крикнул зло:

— Приказываю вести подразделение!!!

Солдат смотрел испуганно, растерянно, словно искал помощи. А в глубине памяти зазвенели слова устава, которые слышал не раз:

— Слушай мою команду... — одними губами.

И не своим — тоненьким, как у первоклассника, голосом — выкрикнул:

— Бегом марш!

Ритмично звякнуло оружие. Панченко пробежал тоже, закашлялся, прихрамывал. Еще не верил в то, что произошло. Остановился. Мимо него, растянувшись, топало подразделение.

— Держаться строя! — крикнул на задних и в эту минуту забыл о себе.

Командир не поправлял его неточные команды, молча бежал в солдатском строю. То шагом, то срываясь на галоп, преодолели два ки-

лометра. Солдаты едва брели, а Панченко все более оживлялся. Детский голосок его становился зычным.

Бежали по льду лесного озера, когда, не рассмотрев в темноте лица и погон, Панченко обругал... командира.

Командир рассмеялся, за ним — подразделение и (как только прошел испуг) сам Панченко. Смеялись и смеялись, тело становилось более легким, ноги — крепкими. Панченко дал команду «Газы!» (чтобы не ржали в строю). Гудели и в противогазах. Лесной сумрак повеселел: сосны покачивались, чуть ли не падали от смеха, гоготали-тряслись обсыпанные снегом кустарники.

Разошелся Панченко.

Команды его бросали подразделение в снег и поднимали, словно в атаку.

— Держать строй!

Ритмичное позвякивание оружия, стон северного ветра в сосновых кронах. Крепкое, как солдатская дружба, «держат строй!». Вкус победы.

3

Перед казармой солдаты — возбужденные, уставшие, веселые.

— Товарищ капитан, вы теперь в подчинении у Панченко останетесь или вдвоем будете командовать подразделением?

— Товарищ капитан... Он как набросился на вас, как гаркнет «подтянись!» — мы уж подумали, что коленом с тыла будет подталкивать!

Подошел дежурный по гарнизону.

— Что, ребята, воюете?

— Так точно, товарищ лейтенант. Прошел слух, что какой-то... высадился за коровником десантом. Мы посоветовались: надо пугнуть. Забегали, отличная физкультура...

— Одновременно и спорт!

Панченко бросил в Прокопа снежок:

— А что, не говорил я в поезде: буду сержантом. Еще и как буду! — и стал по-хозяйски обметать сапоги брезентовым веничком, напевая свою «Била мене мати...».

— Ребята, хорошо новое начальство поет!

— Видно, хорошо били!

Трубят ветры.

Улеглись спать — до пробудки осталось два часа. Никак не берет сон Прокопа. Снова почувствовал жажду писать, чуть погасшую было после первого неудачного очерка.

Неделю поколебался и все-таки принялся за работу. Писал тайком, говорил, что письма пишет. Слышал вой ветра, лязг оружия, хрипло-

ватое дыхание и смех солдат. И лица их видел. Хотел, чтобы все это ожило на бумаге. Не получалось. Бросал. Но голос командира приказывал ему: «Веди!» И, измученный, вел своих героев, как Панченко вел подразделение.

Со страхом ждал газету.

Снег да снег, нескончаемая метелица, днем и ночью расчищали позицию самодельными деревянными лопатами. Отделение Прокопа возвращалось позже всех.

Устали. Стряхнув на ходу шинели, сбив снег с сапог, зашли в казарму. Как приветливая хозяйка, ласково встретила их на пороге пьянящая волна тепла, запахи гуталина, шинелей и одеколona. Многие уже успели умыться. Несколько солдат, а с ними старшина, стояли возле тумбочки дневального, вслух читали свежий номер газеты с Прокоповым (почувствовал это сразу, и сердце екнуло) очерком.

Засмеялись. Весело, безудержно. Как тогда, когда Панченко накричал на командира.

Приложив задубелые руки к щекам, вспыхнувшим с мороза, Прокоп несмело подошел к солдатам, глянул на их красные от смеха и тепла лица, из-за плеч бросил взгляд на страницу газеты, нашел свою фамилию. И нахлынуло незнакомое, сильное и радостное чувство — должно быть, такое же пережил Панченко, когда, перекрикивая пургу, вел подразделение.

ЦВЕТ ЗИМНИХ КОСТРОВ

Г

«Здравствуйте, родные!

Новогодней открытки я не послал, потому что негде было взять: не привезли на этот раз — метели, заносы, транспорт не пробился. Ребята посылали домой фотографии, а кое-кто сам мастерил открытки из цветной бумаги. У меня нет ни фотографии, ни художественных способностей, потому и приветствую обыкновенным письмом.

Новый год отпраздновали по-солдатски.

Аин срубил в лесу пушистую сосенку, поставили в казарме, пахла морозом... Старшина придумал: вместо верхушки — кокарду, на веточки — маленькие солдатские пуговицы, на ствол — большие. И напоминала эта елка солдатский мундир.

Поужинав, строем направились в клуб. Там торжественно, убрано. На новогоднем вечере личный состав гарнизона был в парадных мундирах, выстиранных гимнастерках, а в обычные

дни смотреть кино ходим в клуб в кожах и валенках.

Замполит гарнизона произнес короткую (потому что холодно) речь. Зачитали новогодние приказы. Кому отпуск домой, кому грамота, кому благодарность. Присвоили очередные воинские звания. Мне — младшего сержанта. За час до торжественного вечера пришел к зеленым поганам гимнастерки две красные ленточки.

Давали концерт, коротенький. Под аплодисменты выступили жены офицеров, одетые, несмотря на холод, в легкие праздничные платья, солдатский хор и драмкружок. А под конец заиграл сводный оркестр молодых солдат.

Возвратившись в казарму, сели за столы, наелись конфет, пряников, напились фруктовой воды. Командир и офицеры были с нами. Вместе пели песни — русские, эстонские, литовские, украинские. Потом начались соревнования. Я подтянулся на турнике девятнадцать раз и выиграл пачку «Северных».

Отбой — в два ночи.

Спасибо, что часто пишете. Приходят письма — и теплее становится на нашем холодном острове.

Обнимаю, целую. Ваш младший сержант Прок оп».

2

Ночью в черной кочегарской гимнастерке прибежал в казарму Аркаша Жилков. Губами не мог шевельнуть, руки на морозе покрылись морщинами, как у древнего деда. Дневальный лишь глянул на него — и к командирской койке (с тех пор, как пошли такие морозы, командир спит вместе с солдатами в казарме). Встревоженной чайкой метнулась команда.

Одним движением Прокоп сбросил с себя одеяло и шинель. Будто в холодную купель нырнул, даже задрожал. Посмотрел на соседние кровати, где спали солдаты его отделения.

— Отделение, подъем сорок пять секунд!

Над позицией, над бором, над казармой пламенеет призрачно-зеленое северное сияние. Накануне была оттепель — влажная, туманная. Ударил мороз, и остров — словно из стекла. В прозрачной глазури звенит музыкальная шкатулка леса, стеклянно тенькают приказарменные березы, осока на болоте. Бегут солдаты. Стучат мерзлые сапоги о мерзлую землю, словно глухие колокола бьют тревогу.

На позиции Прокоп, отдышавшись, пересчитал своих.

Замерзло какое-то звено в системе отопления, под угрозой склады, техника.

Совещались коротко. Ломы и заступы ударили о мерзлую землю.

Скрипнула она, зазвенела.

Аркаша Жилков ударял железной палкой по трубе, прислушивался. Потом брал заступ и ковырял трамшею дальше. За ним — солдаты.

— Давай быстрее, ребята!

Став на колени, Прокоп отдирает от трубы черный полуистлевший войлок. Горели костры — такого цвета, как сердце. И пульсировали, как сердце.

Утро. Завтракать ходили отделениями, по очереди.

— Еще метр прогреть! — кричал Аркаша Жилков.

И снова долбили твердую как железо землю.

Наконец бросили заступы и ломы.

— Становись!

Командир, подтянутый, как всегда, шел перед строем.

— Ставлю боевое задание...

Работать решено посменно: больше четырех часов не выдержать на тридцатиградусном.

После обеда старшина выстроил подразделение перед столовой:

— Одна шеренга направо, вторая налево... шагом марш!

Одним — на позицию, другим — отдыхать.

Прокоп с отделением попал в первую партию. Офицеры работали наравне с солдатами.

Участок работы освещали фары боевых машин.

Но от фар болели глаза. Придумали: в банки из-под консервов напихали ветошь, налили солярки — и на длинные палки. Чем не факелы! Налетел сиверко, с шипением выползали языки пламени. Выгорая, ветошь вишнево рдела, угольки падали на снег и долго не гасли. Будто слетелись жар-птицы, чтобы осветить солдатам, и сбрасывали свои волшебные перья. Пылающие на снегу ночные костры навеяли Прокопу мысль о сказочных огненных птицах.

Возвращались в казарму. Старшина выдавал «допнаек» (сахар) и угощал папиросами (подходи по одному, только чтоб организованно!). Торопились спать, не докурив «Северные». Сахар ввалили за щеку и засыпали, не успев дососать.

— Подразделение, подъем!

На позицию.

Солдатская работа!

Ночи, пронизанные ветрами и сверканием северных звезд.

Ночи, согретые кострами и потом солдата — труженика мира.

Работу кончили глухой ночью. Выстроились вдоль догоравших факелов. Прыгали в снег вишневые угольки, будто перья жар-птицы.

— Становись! Заправиться! — скомандовал старшина.

Расстегнули ремни (осторожно, потому что становятся ломкими на морозе!), подпоясались, выпятили грудь.

— Рр-яйсь! Смирр-но!

И сразу же:

— Вольно-о!

Командир идет перед строем, пожимает сбитые, почерневшие, горячие руки, благодарит за службу.

Тепло стало на лютном морозе. Сталью зазвенел командирский голос:

— Горячий солдатский пот течет по этим трубам!..

В шипение костров, в свист ветра вплелась победная медь фанфар, того солдатского марша, под который столько уже прошло их, солдат, и идут они, и будут еще идти и за ними...

Неподвижно застыли в строю, а казалось, шагают. Надвигались волны солдатского марша, и в ночной черноте виделась им далекая даль, подернутая светлыми туманами. Ощущение мужества и строя. Командир... Хотелось идти за ним хоть в огонь, идти прямо сейчас. С ним и за него.

И все, что было на душе, вложили в «Служу Советскому Союзу!».

Возвращались в казарму не спеша. Столько сил играло! Долго не ложились спать. Курили, старшина угощал.

На следующий день проснулись усталыми. Побудка — на час позже. Позавтракав, немного ожили.

Готовились к разводу. Братья Жилковы подошли к Прокопу:

— Прокоп, слышишь... Жар у Аркаши. Скажи старшине, пусть в санчасть направит... Выбегает из кочегарки без фуфайки, без шапки... И говорил, и просил его, дурака, да разве он слушает?

Аркаша молчит, глаза блестят, щеки покрылись густым румянцем.

Положили его в санчасть. Фельдшер посмотрел, сказал: есть подозрение на воспаление легких, нужно вызвать санитарный вертолет — и на Большую землю в госпиталь.

В пятницу прибыл санитарный вертолет. Юрий, растерянный, тихий, и Прокоп несли носилки. Под подушку Аркаше тот конфету, тот яблоко — у кого что есть. Глаза у всех груст-

ные, а шутят (как солдаты), и Аркаша тоже шутил, каждое его слово ловили и подхватывали.

— Ну, держись, Жилков!

Красные фонарики на винте вертолета закружились медленно, как кружатся осенью красные листья, потом быстрее, пока не слились в красноватый круг. Медленно поднялся санитарный вертолет и медленно отлетел, словно птица в теплые края.

Проводив брата в госпиталь, Юрий приуныл, затих. Целыми днями слова от него не услышишь. Проходят дни, недели. Только принесут почту, он сразу бросается:

— Нет от Аркашки?

Не было и не было. Юрий еще больше загрустил. Замкнулся. Пробовал Прокоп расшевелить его — только притворяется, что слушает, а мыслями своими далеко.

Как-то попросил робко, переступая с ноги на ногу:

— Слушай, Прокоп, может, скажешь словечко командиру, чтобы отпустил на Большую землю Аркашу проведать?

— Сам думаю об этом, Юра. Потерпи немного, поедешь. Подразделению вот-вот на боевое дежурство. Кто в отделении вместо тебя будет работать? Аркаши нет... С этим транспортом не могу отпустить. Понял меня?

— Так точно, — сказал тихо, глядя в землю. И повернулся, чтобы уйти.

Прокоп:

— Подожди!

Разве и у него не болит душа за Аркашу? Завтра снова попросит командира, чтобы связался с Большой землей, как там Аркашино здоровье, почему не пишет.

Юра:

— Спасибо... — одними губами. — Разреши идти?

Утром сыграли «Готовность», на позиции снежило, в снегу буксовали, ревя, грохоча двигателями, боевые машины, проваливались в сугробы солдаты, снег таял в рукавах, за воротниками шинелей, в голенищах. Снег выпал такой густой, что утро померкло, солнечные лучи, едва пробиваясь сквозь сплошную пелену, напоминали свет прожекторов или фары боевых машин: высвечивали позицию.

На «Готовность» прибыли «посредники» с Большой земли, поэтому ребята волновались. Но работало отделение привычно, слаженно, точно. Завершив операцию, солдаты подбегали к Прокопу, докладывали, а он по эстафете пере-

давал рапорт командиру. Прокоп работал за себя и за Аркашу Жилкова. Сперва велел Юре стать на место брата, но, увидев, что тот совсем раскис, отменил приказ — сам решил управиться.

Сыпал снег, все шло, как обычно: скупые команды, рапорты, размеренное движение присыпанных снегом, пронизанных бешеной энергией боя людей.

А Юру не узнать. Действует вяло, безвольно, даже допустил ошибку. Ошибку сразу же зафиксировали «посредники». Спокойно, Прокоп! Побежать к Юрке, не говоря ни слова, помочь.

Жилков молча, безучастно освободил место у аппаратуры. К черту эмоции, быстрее на свое место!

Кажется, теперь пойдет у парня... Нет, снова отстал! Прокоп стал нервничать.

Подбежать еще раз, помочь!

Завершив операцию, Прокоп схватил Юрия за плечи, повернул лицом к себе:

— Юрка! Юрка!

Жилков молчал.

— Забудь себя, все забудь: «Готовность»!

Снежинки, танцующая, опускаются между их лицами, Юра равнодушно провожает их глазами.

Перед отбоем, умытые, в чистых, только что подшитых воротничках, слабые от усталости, раздраженные, сидели на комсомольском собрании.

— Товарищи в углу, не спать! Комсомолец, младший сержант Войченко доложит, почему его отделение подвело подразделение на сегодняшней «Готовности».

Прокоп неохотно поднялся:

— Что рассказывать? Отделение еле-еле, на «удовлетворительно» справилось с работой.

Он был расстроен, потому что пропал отпуск домой — десять дней до минуты продуманного, пережитого в мыслях времени. Потому что «посредник» — майор обидно спросил после «Готовности»:

— Какой год служите, младший сержант?

Потому что теперь приходится вставать и хлопать глазами. Разве кто-нибудь ожидал, что подведет Жилков? А сам он, между прочим, хоть бы хны, клюет носом в уголочке.

Прокоп чувствовал, как в груди у него накапливается злость. Не хотел поддаваться. Если уж говорить по-настоящему, то должен вспомнить и Юркину просьбу, которую он, Прокоп, не передал командиру: проведать брата в госпитале на Большой земле. Об этом непременно надо было сказать, но Прокоп страшно устал, раздражение нарастало в нем, и он сказал:

— Жилков переживает, понятно... Но ведь нужно... Не только свое отделение подвел —

все подразделение. И еще: опустился, скис, на солдата не похож. Пусть объяснит комсомолец Жилков...

Говорил и с каждым словом раздражался все больше.

Юра поднялся возбужденный, злой:

— Что пояснять? — и замолк, но по лицу видно было, что слова, до боли обидные и горькие, где-то звучат внутри. Молчал, минуту спустя выдавил из себя:

— Объявляйте наряды, сажайте на гауптвахту!..

Собрание закончилось. Прокоп вышел вслед за Юрием. Остановить, сказать ему (по глазам видно — он поймет). Но решил отложить разговор — нестерпимо хотелось спать. «Еще поговорим, будет время», — успокаивал себя, ложась в холодную постель. Засыпая, услышал Юркин голос:

— Холодно мне, замерз...

На следующий день остров всколыхнуло известие: пропал Юрий Жилков.

5

Первая мысль была — несчастный случай! (остров, всякое может случиться).

Вторая — убежал в «самоволку».

Обыскали все, всех расспросили. Солдат соседнего подразделения видел, будто Юрий шел в лес... На дороге снег утрамбован ветром и колесами машин. Не разобрать следа.

Команда: продолжать поиск, отправить машину к ближайшему рыбацкому поселку.

Панченко с Прокопом заправили бортовку...

А за несколько минут до этого командир, холодный, разгневанный, спрашивал Прокопа в канцелярии:

— Был разговор у вас с Жилковым?

— Так точно.

— С какой просьбой обращался?

— Хотел на Большую землю с этим транспортом к Аркаше.

— А вы?

— Сказал, что поедет, но немного позже.

— Почему же мне не доложили?

— Не хотел беспокоить, товарищ капитан. Вы ходили на боевое дежурство, и, как сержант...

— Вроде бы правильно поступили, сержант! Перед строем упрекать вас не стану.

— Мы — солдаты, мужчины, товарищ капитан... — вскипел Прокоп. — И это же в конце концов армия!

— Рано же вы зачерствели, сержант и журналист... Ведь знаете, и без Жилкова

можете справиться. Ладно, еще поговорим об этом... Помните: случится что-нибудь с Юрием — вы виноваты. А теперь ступайте, ищите...

Заревел мотор, задымила перед фарами снеговая пыль. Снова пошел снег. Ракетой летела машина. Снежная дорога ровная, гладкая. Километра, может, на два отъехали, когда Прокоп оглянулся: среди безграничной темно-белой пустыни, среди занесенных снегами других островов и островков чернеет и их, но какой же? Тот? Или этот? Который из них? Даже не по себе стало: а что, если не попадут обратно? Обернулся к Панченко:

— Дорогу знаешь?

— Не впервые, — ответил Панченко солидным тоном.

Изменился парень после той ночи, когда вел подразделение и, должно быть, впервые почувствовал себя солдатом. Удивительная штука человеческий характер. Разве угадаешь, что с ним происходит? Вот и Юрка Жилков...

Стал думать о Жилкове.

Искал для себя оправданий. Ничего же вроде бы не произошло — ну не с этим, так со следующим транспортом... Но ведь пообещал ему — поедет... А может, если бы все-таки поговорил с Юркой, ничего бы и не случилось?

Было досадно и обидно от этих мыслей. Расстроился, со злостью на себя бормотал вслух:

— Вот так, сержант, когда на боевой аппаратуре работаешь — над каждым движением задумываешься, чтобы, не дай бог, ни на йоту не ошибиться. А человеческая механика — она сложнее, еще большей точности требует. Разве не знал этого? Знал, но позволил себе на минутку забыть. А в отношении с людьми, видишь ли, секунды тоже имеют значение. «Налево», «направо» научился кричать, людьми командовать не научился.

Тарахтел мотор, и Панченко не мог услышать его слов.

Казнил, мучил себя и находил в этом горькое утешение. Потом подумал, что это отвлекает внимание, и усилием воли сосредоточился на дороге.

Прильнув к лобовому стеклу, посмотрел вверх. Тускло поблескивали северные звезды, завернутые в белые простыни небесных туманов. Аркаша Жилков вспомнился. В белой госпитальной палате.

Проезжали малый островок, покрытый черным лесом...

— Стоп!

Тормозит машина. Рядом с дорогой вроде бы фигура. Прокоп открыл дверцы, спрыгнул

в снег, побежал, остановился. Чурбан какой-то высокий принял за человека.

— Во, как выросла молоденькая елочка, — сказал, ставя тяжелый валенок на ступеньку кабины. И оба засмеялись, вспомнив, что едут по льду, что под ними море.

По дороге еще не раз встречались такие чурбаны, в конце концов догадались: рыбацкий принадлежности.

— Подремлю немного, — сказал Прокоп, но не заснул и, несмотря на боль в глазах, всматривался в заснеженный простор.

Из-за горизонта вынырнули апельсиновые точки электрических огней. Рыбачий поселок.

Панченко остановил машину перед крайним домом. На свет фар, на шум мотора вышел коренастый бородач. Пригласил в дом. Некогда! Чайком согреться... Можно бы, да служба! Спирту немножко на дорогу... Не положено!

Спросили помора.

Нет, в село никто не приходил.

— Маленький такой солдатик, верткий, в белом колушке...

Не видели. Если бы появился солдат — знали бы.

— Может, заночуете все-таки, мороз, еще снежная буря начнется. Это север...

— Ну дело солдатское. Но хоть рыбки мороженой брошу, солдату уха не каждый день перепадает.

И на прощанье:

— Мы службу понимаем! Весной тоже призовут, следующей. Годы подходят.

— Неужели тебе восемнадцати нет? — Панченко сразу на «ты» с допризывником. — Вот это народ — поморы! — смеется Панченко, смеется Прокоп, и парень усмехается доброй улыбкой великана.

Панченко направился к машине. А Прокоп с молодым помором заглянули в сарайчик. Свежим деревом запахло, рыбой и морозом. На деревянном полу, под стеной — рыба. Глось, бычок — узнавал Прокоп — и будто в муке обкатана с мороза. Помор насыпал деревянной лопатой большой куль. Закрыли сарай. Рыбу сам принес в машину.

Тут и мать объявилась. Подвижная, как белочка, маленькая, даже странно, что такого богатыря народила. Для очистки совести и у нее спросили, не появлялся ли в селе военный. Не было.

И она тоже:

— Заночевали бы, морозище...

— Спасибо.

Хлопнули дверцы кабины. Плохо закрывались, так что нужно было помогать плечом. Пан-

ченко дал газ, тронули. Прокоп помахал в окошечко. Тут и заметили, что женщина бежит за машиной.

— Подождите!

Остановились. А она бегом в хату и вынесла рукавицы. Рыбачьи: верх вязаный, а низ кожей подбит, для работы.

— Вишь, шоферу меховые выдали, а сержант — в худых. А ты не посмотрел, — упрекнула сына.

И в слепом свете уличного фонаря, стоявшего напротив калитки и чуть наклоненного северными ветрами, было видно: глаза у матери и сына одинакового цвета, светлые, как морская даль. Этот цвет показался сперва Прокопу ледяным. Сейчас сообразил: удивительно теплый.

6

Вырвались за поселок. Что же теперь, на остров? Нет, Панченко еще одну дорогу знает, по которой ходит транспорт на Большую землю.

— Может, по ней и махнул Юрка?

— Конечно, по ней.

— Думаешь? — засомневался Прокоп.

— Что там думать?... Говорил мне, раз не отпускают — сам пойду Аркашу проведать.

— И ты молчал!

— Считал, что только так, болтает...

Проехали около километра.

Панченко, как давно обдуманное, твердо:

— По мне, хоть всю военную технику в мире вместе собрать, которой всю жизнь погасить можно, а солдат — один-единственный — всего дороже...

Добрались до перекрестка (Панченко знал, какого, а Прокоп давно потерял ориентацию в этой однообразной темной пустыне). Круто повернули.

Устали, и машина их, должно быть, тоже устала, мотор натужно работал, чуть ли не стоял. Раза три останавливались. Панченко залезал под передок, открывал капот. Ехали дальше. С каждой остановкой Панченко становился все более хмурый. Но:

— Еще километр...

Вдруг фары высветили человеческую фигуру. Да это Жилков! Тоже заметил их, шел навстречу. Обрадовавшись, выскочили к нему. Втянули в кабину. Простонал только:

— Ноги...

Погоди, согреешься! Стадили с него валенки, растерли ноги. Может, снегом? Да зачем снег, в кабине же печка. Засуетились вокруг солдата.

Панченко стал разворачиваться. Колея узенькая, как только съехали с дороги, машина застряла. Полчаса буксовала. Прокоп подталкивал плечом, бортовка ревели, радиатор, скаты дымили, наконец мотор заглох окончательно и больше не заводился.

Прокоп вне себя:

— Делай же что-то! — к Панченко.

Поругались. Еще долго не верили, что не заведется. Бросили спорить. Прокоп залез в кабину, стукнув при этом дверцей с такой силой, что казалось, машина тронулась:

Панченко:

— Фортуна обернулась к нам спиной! Юра, иди можешь? — Теперь только об этом, больше ни о чем не спрашивали.

Замотал головой:

— Ноги...

— Значит, так, — сказал Прокоп. — Кому-то оставаться с Юркой в машине, кому-то пешком на остров. Вот, Панченко, и оставайся.

— Ты же дороги назад не знаешь!

— Уже знаю.

— Смотри, не близко. Двдцатка будет.

Говорили о дороге. О том, чтобы тот самый перекресток не прозевать, потому что иначе... Еще вспомнили: нужно воду из радиатора выпустить, а то разорвет...

— Разорвет как пить дать, — согласился Панченко и вызверился вдруг: — А где ключ?

Будто Прокоп виноват в том, что ключ остался в гараже. Выругавшись, полез под мотор. Долго возился, потом вылез и показал Прокопу пробку, засмеялся.

— Как же ты открыл?

— А зубами! Берут не хуже разводного ключа!

На счастье, неподалеку островок. Принесли валежник, плеснули бензином из канистры, развели костер. Панченко вытащил из кабины переднее сиденье, положил на снег между костром и машиной, стоявшей поперек дороги. Юра сел. Панченко нашел среди инструментов маленький топорик и пошел за дровами. А Прокоп — назад, на остров.

Зеленоватое северное сияние постепенно гасло. Стало темнее. Ногами определял укатанную дорогу. Когда раздваивалась или натыкался на развилку — останавливался. Чиркал спичкой, отыскивал след машины. Когда осталось несколько спичек — на три-четыре папиросы — нащупывал след руками, как слепой.

Отыскав дорогу, старался идти быстро. Пока до острова да пока оттуда машиной, Юрка совсем замерзнет. Нужно торопиться.

Разогрелся так, что завязки «полярной» шапки пришлось распустить, вспотел в кожухе.

Бездна моря под ногами, бездна неба над головой, хорошо, что уже научился преодолевать страх перед зимней северной ночью.

Несколько раз пришлось останавливаться и переобуваться — фланжки в слишком больших валенках сбивались в узлы. Как торопливо ни перематывал, все равно охлаждалось и покрывались изморозью.

Торопился, не думал ни о чем. Мысль тоже требует энергии, а ее надо экономить.

Заставлял себя ни о чем не думать. Переставлял ноги, и все.

Десяток километров отмерил, когда кольнуло вдруг слева в груди. Раз, второй, словно сначала не попадало, а потом — в самое сердце. Даже застонал (никого не было вблизи, и мог не сдерживать стона). Остановился.

Казалось, будто стоял в маленькой лодке, которую, играя, бросает морская волна. Толкнуло волной, пошатнулся, едва устоял на ногах.

Пошел медленно, осторожно дыша. Чувствовал глухие удары в груди, сердце билось, как маленькая рыбка в сетях.

— Сорвал сердце!

Черный туман заволок глаза, вынужден был сесть, а потом и лечь на дорогу. Закрыв глаза, несколько минут лежал, стараясь спокойно, ровно дышать. Постепенно сердце успокоилось.

Открыл глаза — на него глядели мерцающие звезды. Полежал, потер мягкой рыбацкой рукавичкой нос и щеки (все время нужно тереть, чтобы не отморозить). А поднимаясь, почувствовал дикую усталость, подкашивались ноги.

Снова поплелся. Раз или два останавливался покурить — не помогало. Теперь шел медленнее, с опаской. Сердце стало капризным, такое было ощущение, что неосторожно повернешься — и зацепишься за что-то острое.

От усталости, от страха, что не дойдет, даже голова начала кружиться. Но вспомнил караулы — после нарядов, после боевой работы — изнурительные:

— А все-таки дойду!

И не знал, дойдет ли. Перед глазами — Юрка Жилков, сидит у костра в белом кожухе. Костер перед ним играет, бьется языками пламени. Прокоп шагал медленнее, и тогда в его представлении костер угасал, и Юрке становилось холоднее. Прокоп натирал мягкой рыбацкой рукавичкой щеки и прибавлял ходу.

Порой казалось — заблудился. Холодный страх, отчаяние. Гасил в себе страх, вспоминая караульные ночи. Несколько раз в изнеможении валился на снег (никто ведь не видит) — отдыхал.

Костер, греющий Жилкова, такого же цвета, как сердце. И так же болезненно бьется, чтобы не погаснуть! Шел.

Шел дальше...

Доложил командиру, что Жилков найден, и, не раздеваясь, повалился в кровать. Но старшина отругал и заставил раздеться.

Мимо казармы (так, что стены дрожали) промчались, ревя, боевые машины — одна, вторая... Больше Прокоп не помнил ничего.

На разводе (это было через несколько дней) предложили: кто добровольно возьмется кочегарить вместо Аркадия Жилкова? Из строя вышел Юра. Никто такого не ожидал. А командир:

— Жилков Юрий, стать в строй!

Не стал.

Надел черную Аркашкину фуфайку, кочегарил вместо брата, а вечерами еще и кино крутил.

За «самоволку» Юрке (все поразилась) ни нарядов, ни гауптвахты — так велел командир. Два дня Юрка пролежал в санчасти и снова в строй. Ездил на Большую землю, проведая наконец брата. Возвратился как будто другим: остепенился и, казалось, стал еще больше похож на брата.

Заглянет Прокоп в кочегарку — сидит Юрка на тачке, как любил Аркаша сидеть, только не рисует. Перекинутся словечком, вспомнят кое-что — и тогда красный отблеск топки на Юркином лице напоминает отблеск зимних костров.

ПИСЬМО

1

Шелестит, певелится дырчатый весенний снег, шумит, словно дождик, — тает.

Морскую льдину — весеннюю, сиренево-голубую — раскололи глубокие трещины, в них плещется-бьется нетерпеливая волна.

Неровными клиньями плывут на север гогочущие гуси и утки, растянулись в небе ниточки лебединых стай. А небо уже васильковое, будто южное. Теплые лучи, как медали, играют на солдатской груди, словно награды за то, что выстояли северную зиму.

Весной красивее становятся солдаты. Порой и командир залюбуется стройным, по-военному ловким красавцем, на котором полгода назад ги-

мнстерка висела, будто он только что вылез из воды. И загрустит командир, потому что скоро демобилизация, прощание.

С весенним солнцем приходит любовь и на остров. В шорохе талых снегов, в свадебном пении птиц, в радостно-оживленном шуме боров стоят влюбленные дивизионы.

О, как жадно ждут солдаты весенние письма от любимых! Подолгу ждут: в эту пору, ветреную, штормовую, не часто прибывают на остров вертолеты.

И вдруг новость: летит!

Все словно наэлектризованные. Ежеминутно поднимают глаза к небу, а кто свободен от работы, бросается на посадочную площадку встречать.

Показался вертолет, громыхая моторами, перелетел остров и завис неподалеку, над посадочной площадкой. Не садится. Опустился чуть пониже, открылись дверцы, и рука в меховой летчицкой рукавице сбросила почтовую сумку.

Ее сразу подхватил-закрутил северный ветер. По глубокому снегу напрямик бросились вслед солдаты. Ветер швырнул сумку на лед, покотил ее (чуть-чуть не успели) и столкнул в глубокую трещину.

В напряжении, в нерешительности стояли солдаты над трещиной. Не ледяная вода пугала — привыкли к холоду, в самые лютые морозы растирались колючим снегом. Пугала трещина — ее края могли сойтись и расплющить...

«А может, именно в этой сумке то письмо, которого ждал всю службу», — подумал Прокоп, подумал каждый из солдат.

Пока советовались, как достать, сумка медленно, булькая, тонула. Наконец исчезла под волной.

Кто-то бросился в воду. По светлomu чубу, показавшемуся над волной, узнали — Аин.

Обожгло лицо, потом будто когти впились в глаза, в затылок, достигли мозга...

Солдаты легли на лед и показывали ему то место, куда затянуло сумку.

Аин искал в воде руками, пробовал ногой — может, натолкнется на твердое. Нет... Набрал полные легкие воздуха и нырнул (успел услышать, как кто-то крикнул сверху: «Не ныряй!»).

Открывать глаза нет надобности — вода под льдиной черная. Шарил вокруг себя руками. Еще глубже. И когда уже совсем не хватало воздуха, локтем прикоснулся к чему-то твердому.

Сумка тяжелая, будто из-под земли ее надо вытягивать. В зажмуренных глазах красноватый свет, становящийся все более ярким. Од-

ного боялся — чтобы не затянуло под льдину. Течение слабенькое, а все же...

Вынырнул, задев виском острый край, по воде расплзлось алое пятно. Края трещины сходились и расходились, был миг, когда Аин уже не мог повернуть свои могучие плечи.

Несколько рук подхватило Аина, одним махом вытянули на льдину. Парня сразу же раздели, шершавым рукавом шинели растерли так старательно, что белое как снег, в тяжелых, будто кованных мускулах тело загорелось. Потом Аин ловко напялил чьи-то галифе и шинель на голое тело.

Подлетел на боевой машине Панченко. Аин и Прокоп вскочили в кабину и по льду напрямик — в санчасть, только две полосы остались на сером, в проталинах, снегу.

2

Мокрые письма дневальный решил распечатать и конторскими кнопками приколот к теплой деревянной стене казармы, чтобы побыстрее высохли. Вся стена завешена письмами, северное солнце согревает их.

Перед обедом дивизион возвратился с позиции. Как только раздалась команда «вольно!», бросились к письмам, засуетились у казармы.

Письмо от Веры — крайнее. Прокоп сразу узнал бумагу — всегда писала на белоснежных листах. Эта была мокрая и продавленная (должно быть шпагатом, которым перевязывали пачку). Толкаясь, прорвался к письму (кто-то буркнул: «Ишь, не терпится!»).

Осторожно держа твердый, словно картон, лист, отошел в сторону. На чистой бумаге кое-где остались обрывки размытых слов и сиренево-голубые пятна. Ни одного слова нельзя было прочитать. Видел ее руки, всегда в царапинах, как у школьницы, видел русые, распущенные волосы, падавшие на эту бумагу. Грусть, как талая снежная вода, зазвенела в груди.

Письмо светилось в его руках снежным сиянием и звучало ее словами.

— Стройся на обед!

Пообедав, готовились в наряд. Прокоп и Аин (хоть бы чихнул после холодной купели!) ушли в караул, Панченко — дежурным по кухне.

Было уже после одиннадцати, когда к караульным воротам прикатил порожние санки Ефрейтор Малай. Вошел Аин, открыл ворота, и Малай, наклонив голову, поплелся на дровяной склад.

Старый уже конек, заезженный. Не одно солдатское поколение запрягало его в сани и повозку и даже козыряло ему. Это наука для новичков, забывавших отдавать честь: их не раз посылали козырять Малаю. А еще существовала на острове традиционная шутка. Молодому солдату, который был дневальным, звонили по телефону:

— Позовите-ка Ефрейтора Малая!

Дневальный каждого встречного расспрашивал, не видел ли этого самого ефрейтора, пока кто-нибудь не советовал ему смотаться на конюшню. Возвращался под общий хохот...

Ефрейтор Малай любил солдат и не обижался на солдатские шутки.

Вслед за Малаем у караулки появился Панченко.

— «Самоходная установка» на склад направилась?

— На склад.

— Чутьочку у вас передохну и по дрова... Не выгоните?

— Гуляй...

Панченко подбросил вверх правое плечо, на котором сверкал новенький погон младшего сержанта (только что присвоили, ездил в часть на сержантский сбор), и достал из глубокого кармана галифе «Приму». Угостил Прокопа.

— Закуривай!

В комнату начальника караула вошел Аин Рааг. Закурили все.

— Ты, Аин, «начкаром», а Прокоп разводящий?

— Наоборот.

— Ага...

В снеле тумане потекла солдатская беседа.

— Счастливый ты, Прокоп: караул-другой — и домой, а нам с Аином еще тянуть да тянуть, как тому Малаю.

Говорил радостно, будто это ему через какой-то месяц увольняться в запас.

— Да и вам легче будет служить на втором году... Ко всему привычные. — Прокопу неловко, что так получается: ему один год служить, ребятам — два. А мысли уже дома: — Какие овощи будут, когда я возвращусь?

— Сейчас скажу. Огурчики, помидоры — только из теплицы. А из ягод — клубника, — помогает Панченко помечтать о доме.

— Черешня может быть ранняя, желтая, — говорит Аин.

— Почему же только желтая? Черешня идет вместе с клубникой.

Это Панченко хорошо знает, возле его села гектаров чetyреста леса и гектаров двадцать

черешни, в лесу. Люди, когда-то посадили, из косточек разрослась. Зацветут — кажется, весь лес цветет! Вот как раз сейчас цветут. До черта гибнет, но и собирают люди много...

— Слышите, ребята?.. — Панченко захлопал веками, и лицо приняло по-крестьянски серьезное выражение. — Сон в воскресенье приснился. Так, будто сплю в карауле (а я действительно сплю в карауле — смена спать). И тут приходит Татьяна — моя девушка — и подает букет цветов обеими руками. Хотел сказать что-то — и проснулся. Что это значит?

— Аин, что красные цветы означают? Ты должен знать.

Рааг чистит карабин. Не оставляя работы, хитро смотрит на Панченко:

— Любовь, конечно!

— Почему же тогда у меня душа болит, просто изнывает?

— Нормально, — заверил Аин. — По-эстонски любовь — армастус. «Арм» два значения имеет: любовь и шрам. Понимаешь теперь?

— Теперь как раз не понимаю! — признался Панченко.

— Как ты можешь не понимать? Любовь — это рана...

Ткнул пальцем в то место на груди Панченко, где расположено сердце:

— Вот здесь должно болеть!

— А, так, значит, Прокопа от большой любви возили на Большую землю в санчасть?.. Смеются. Еще закурили.

Теперь Прокоп загрустил:

— У меня как-то так: пишем друг другу — и все. Она первой написала. Дома не обращал на нее внимания, просто учились вместе. Когда призывали — провожала. Ни слова друг другу не сказали особенного... А на острове только о ней и думаю. Вчера снилась... Сели за стол — она по одну сторону, я по другую, и никак не удается поговорить. А еще такое снилось. Будто свадьба наша... Она красивая, в белом, только лица не могу увидеть. Замучился (как во сне бывает). Все-таки заглянул в лицо — чужое, другой девушки...

Панченко деликатно:

— Снится всякая всячина...

— А после возвращения — кто его знает... — Прокоп вроде бы спрашивал. — Наверное, служба пройдет, и все вместе с ней...

— Это почему же?

— Предчувствие!

— Не думай плохого. Вот я своей Тане верю. Возвращусь — сразу же и женюсь. И твоя будет ждать. Такого да не ждать!

— Любить, — сказал Аин серьезно, — это как в атаку идти, я никогда не ходил, но знаю.

А немного подумав:

— Нет, не так я сказал. Вот слышал ты, как колокола звонят? Начни песенку какую-нибудь — и они за тобой. Начни другую, и они ту же. Какую мелодию ни возьмешь — колокола ее поддержат. Вот так и девушка — какой себе представишь, такой и будет с тобой. Снова я что-то не так говорю, — усмехнулся, замолк, клоч белых волос упал на лоб.

Панченко к нему.

— А у тебя девушка есть, Аин?

— Нет.

— Ну да... — засомневался Панченко. — Какого же дьявола ты под лед нырял?

— Обманывает, — Прокоп весело. — У него гимнастерка точно сумка почтовая. Все карманы девичьими письмами забиты.

Любопытство разбирает Панченко:

— Что же она пишет из Эстонии?

Аин достал из внутреннего кармана гимнастерки аккуратно сложенный листок.

— На, читай.

Панченко пошевелил губами, пытаясь разобрать непонятные эстонские слова, и лихо начал «читать»: «Здравствуй, дорогой солдат Аин! Пишет тебе любимая твоя Галина». Нет, не Галина... Аин, как у вас в Эстонии девушек зовут?

Аин, смеясь, перебил:

— Ефрейтор Малай хоть и мудрое животное, но грузить за тебя дрова не будет! — и забрал письмо, в котором (это заметил Прокоп) лишь несколько строк промокло, должно быть, лежало в середине пачки.

Прокоп взял из пирамиды карабин и пошел вслед за Панченко: проверять охрану. На крыльце, словно по команде, посмотрели на небо.

Над бором летели лебеди. Не спеша помахиwali усталыми крыльями.

— Сколько им до Украинны лететь?

— Столько же, как и нам... — Панченко вздохнул. — Служба! — сказал так, как говорят: жизнь...

И пошел искать Ефрейтора Малая, а Прокоп отправился к постам.

3

Несколько последних нарядов ходил только в караул, преимущественно «начкаром». Службу знал хорошо, дежурные по гарнизону всегда отмечали в постовых ведомостях: «отлично». Потому и ставили его в караул.

За ночь раз пять обойдет посты. Не потому, что часовым не доверял — ребята надежные. Влекло его очарование белых ночей.

— Стой, кто там идет! — кричит часовой, литовец, так и не освоивший до конца язык устава.

— Начальник караула! — отвечает Прокоп.

А часовой уже узнал его, прикладывает карабин «к ноге».

— Спокойно?

— Так точно, товарищ сержантус!

— Не замрз?

— Ги-ги, — смеется часовой: кто же об этом спрашивает, когда весна.

— Ну действуй по уставу, — бросает Прокоп обычное солдатское и идет на другой пост.

Остановился у трех, северным ветром наклоненных сосен. Всегда тут останавливался. На караульном кругу встретил Прокоп свою солдатскую осень, зиму, весну, встретил и любовь.

Университетские отношения его с Верой были товарищескими, обыкновенными, а впрочем, и несколько необычными, потому что была между ними и минута любви, короткая, как вспышка, — давно, как только поступили.

Встретились на какой-то вечеринке в общезжитии. Студенческая братва развлекалась по-студенчески: кто пел, кто танцевал, кто просто смеялся; все это — в малюсенькой комнатке, где все вокруг дрожало. Разошлись по домам после третьего напоминания комендантши. Вот вот уже должны были расходиться, когда девчата-попелушки стали упрашивать Веру: спой еще нашу, и пойдем. И она, уже в плаще, спела ту, услышанную от матери в далеком полесском селе:

Висока верба, висока верба
Широкий лист пускае;
Велика любов, тяжка розлука
Серденько зривае...

Мелодия напоминала осенние листья, тихо опускающиеся в прозрачную воду и плывущие по ней. Грустно стало Прокопу, но в тоске этой такая радость и жизненная сила, что, казалось, захлебнуться можно. Ему почудилось, что мелодия влилась в кровь, и сердце застучало ею; и это чудо не проходило.

Стал провожать Веру после лекций. Шли по осеннему парку к Днепру. В первый день так радостно Прокопу, что утаить невозможно, во второй — умиротворенность какая-то и грусть, а на третий — настроение прощания...

Через мост перешли на ту сторону Днепра, по холодному, ивовыми листьями засыпанному песку подошли к воде. Молчали. Вера по природе своей молчаливая, а Прокоп просто молчал, горько пахли влажные лозы.

Рдел песок цвета старого золота; красные вербы и откосы днепровские — точно гравюра из старой летописи. Казалось, что и Лавру позолотила осень. Высоких куполов касались набухшие холодными дождями облака.

Длинноволосые вербы мыли ветви в осенней днепровской воде, с длинных веток стекали листья и плыли по воде.

Сорвался ветер с дождем, реденьким, словно кто-то кропилом побрызгал.

— Пошли, Вера, а то простудишься.

— Ничего.

Стояла, опершись на свесившуюся к воде вербу, длинные волосы подхватил ветер, обвил вокруг ствола. Медленно подняла на него глаза. Золотистым осенним светом вспыхнуло все вмиг. Застыли друг против друга, одновременно сопротивляясь и поддаваясь неистовой силе притяжения. Дурманило предчувствие объятий, но не посмел ее приласкать, что-то сдерживало, может, полуосознанное: такие минуты — навсегда. Золотистый свет постепенно угасал, оставалась серость осеннего дня.

Возвращались уставшими, далекими, будто стыдились друг друга. И каждое слово было прощанием.

Незаметно косясь на Веру, Прокоп думал: «Не моя ты, девушка. Полюбил я не волосы твои, не полесскую, таинственную, как первобытный лес, красоту, а песню. Это не любовь, это мечта». И печально, сладко, непрестанно слышалось ему:

Висока верба, висока верба
Широкий лист пускає...

Разговор не получился у них. Проводив девушку до трамвая, почувствовал облегчение и даже радость, что все произошло именно так.

Это песня, это гипноз... Смирился с такой мыслью. Но ведь были тревожные караульные ночи, когда в бриллиантовых россыпях северных звезд, как поддержки, искал он контуры ее лица. Были нескончаемые лютые морозы, когда вьюжные вихри напоминали ее распущенные волосы и потому не холодили — согрели вали...

Поправил на плече карабин — сползает.

Морская даль уже чернеет чистой водой.

И снова мыслями — к Вере. Губы ее никогда его не целовали. Руки с длинными чувствительными пальцами никогда не обнимали. Писал ей сдержанно — только о службе, она смелее была в письмах. Может, потому и казалось, что первой должна сказать те слова, которых, пожалуй, ждали оба.

Поддерживая ремень карабина, достал из кармана гимнастерки письмо. Между прожилками бумаги искал глазами следы ее слов. Казалось, должны быть именно в этом... вырванном Аином из ледяной морской волны.

Из-за моря снова летели лебеди. В васильковом густом небе шли в несколько клиньев, друг над другом, словно строки письма. Прокоп читал живые строки и верил, что они обращены к нему.

ПРОЩАНИЕ ОСТРОВИТЯН

1

Летели на юг последние стаи лебедей.

Подходили к концу последние солдатские дни, такие же томительные, длинные для Прокопа, как и первые.

Тех, кто увольняется в запас, старшина вызывал к себе в каптерку:

— Подходи, ребята, по одному! Из какого города, каким военкоматом призывался?

Запахло дорогой.

Разнесся слух: будут отправлять на Большую землю с первым катером, а катер прибывает, как только лед сойдет у причальных столбов. Ежедневно бегали смотреть, не сошел ли. Кое-кто лом с собой прихватывал — поколупать метровую льдину, лишь бы побыстрее.

Пережили пять «ложных тревог», когда заходил командир, или старшина, или кто-то из радистов и говорил, что пора собираться.

Впервые услышали эти слова месяц назад, как раз смотрели в клубе кино. Не успел старшина закончить фразу: «Кто демобилизуется — на выход!», как ребят уже и след простыл в кинозале. Умылись, надели парадное. Отбой! Как были, в мундирах, поплелись в клуб досматривать.

А последняя «ложная тревога» была вчера. Играли в футбол с соседним подразделением. Только было начали второй тайм, как прибежал дневальный:

— Катер вышел!

Наперегонки в казарму! Поле враз опустело. Демобилизованные переоделись и начали ждать.

Прибежал ефрейтор с радиостанции:

— Не будет катера! — и ходу, потому как за такую новость...

Сбросили парадные мундиры, сдали старшине в каптерку и пошли доигрывать матч. В сердцах проиграли.

Увольняющиеся в запас работали отдельно, на «дембельских» работах. Все из рук валилось, поминутно кто-то бегал на радиостанцию спрашивать, не вышел ли катер. Чаще всего обучали молодых солдат или пилили дрова. Двое пилят, остальные — учетчики. Тот по-грузински считает, тот по-литовски, а Захар по-татарски. Нужно ли удивляться, что счет не совпадает? Шутя переругиваются, а чтобы не было ссоры, примутся играть в солдатские городки: сложат из напильных только что колод «пушку» и сбивают ее еще большей колодой.

А то еще придумали слоняться по городку строем. Пойдут туда, пойдут сюда (Захар командовал). Офицеры не трогают: строем идут — значит, при деле.

Как-то командир велел соорудить шлагбаум и турник. Вырыли в водянистом грунте ямки, не закрепив их камнем, поставили опорные столбы — кое-как сварили. Утром, когда командир пришел проверять работу, слегка приморозило, словно приварило шлагбаум и турник к земле.

— Навеки сделано, товарищ капитан!

После обеда пригрело солнышко. На позицию — а турник упал, а шлагбаум покосился. И командир здесь...

С тех пор так вкалывали, что некогда было и голову поднять. Немного побурчали, но это так, для виду, а в душе благодарны были командиру, потому что за работой и время проходило быстрее.

Солдатское ожидание... Еще на сборном пункте в Дарнице Прокоп почувствовал его.

Час, а то и больше приходилось выстаивать, ожидая своей фамилии. Умолкнет мегафон — и расходятся неназванные, ложатся в холодок под молоденькими соснами или загорают на каких-то досках. Прокоп попал в резерв, лежал на досках — «покупатели» неохотно брали с высшим образованием. За день перед тем куда-то торопился, теперь время вроде стороной проходит. Лежал на досках и мог пролежать так сколько угодно. Как и все его коллеги по резерву, более всего боялся, что так и не зачитают его фамилии. Некоторых уже отправили назад.

Ожидание было первым его армейским испытанием.

За бетонной оградой сгучились родители, родственники, друзья, девушки. Изредка кто-то из ребят перемахивал через ограду... То тут, то там начинали петь. Девушки иногда с той стороны вскарабкивались на ограду, кого-то звали. В придорожной траве цвел терновник.

Прокоп лежал на досках лениво и бездумно, ждал своего вызова, а когда прозвучала фами-

лия над плацем, — странная, будто чужая, по мегафону, — стал ждать эшелона.

Потом ждал распределения, ожидал писем, отпуска, «неизбежного» приказа... Ждать, ждать... Записал на последней странице «солдатской книжечки»:

«Все чего-то ждут в войсках. Армейская служба — наша, родителей, и так испокон веку — это сплошное ожидание. В конце концов, это ожидание мира. Такого, чтобы навсегда. Никто не стремится к миру так горячо, так томительно и каждую минуту, как солдат».

2

Начались боевые учения. Часто воеет сирена. Все в напряжении, в тревоге.

Несколько часов просидели в бомбоубежище. Пресный запах подземелья. Молчали и смотрели на телефон. Как зазвонит — на лицах надежда: может, отбой?

Прокоп открыл банку тушенки, взял кусок и направился в дальний угол, где, съжившись, уместился на полу кот Альбатрос.

Он сходит с ума, когда слышит сирену. С перепугу бросается перед солдатами в бомбоубежище, гребет землю («окапывается», — объяснил Юра Жилков), дрожит и мяукает.

Прокоп положил перед ним кусок тушенки. Кот сперва не хотел есть, потом лизнул... Брал настороженно, не открывал глаз от Прокопа. Глаза расширены, страшные, похожие на человеческие, в них — ужас.

Смотрит Прокоп на дрожащее, испуганное животное, на телефон, который в этот миг может сообщить и про отбой, и про кое-что иное... Война — что это? Не впервые за службу думал об этом.

Вспоминает Прокоп свой первый караульный наряд. Никаких происшествий не случилось. Правда, при сдаче пришлось раза три перемывать пол. Ну это, разумеется, на пользу, потому что, хоть самому казалось, будто он уже настоящий воин, те, что побывали в переплетах, придерживались другого мнения, очевидно по латинской поговорке *Tempus product, non ager* (время возделывает, не поле), имея в виду что солдата создает срок службы. А если говорить откровенно, были убеждены, что, несмотря на свои двадцать пять, Прокоп зеленый, как лягушачий пуп.

Часовой-новичок уставно «двигался в указанном направлении». Карабин вдавливался в плечо, ноги ныли в сапогах — так и должно быть поначалу. На голове вроде как верша — от комаров. Как и случается с «салагами», не

обошлось без комедии. Глянул — у маслогрейки дымок (ночь белая, солнце будто мяч, не тонет в море). Решил: проверяя его, провоцируют пожар. И на дымок этот — с огнетушителем! Подбежал, запыхавшись, а это родничок испаряется. Хорошо, что никто не видел срочно предпринятых им мер, — засмеяли бы.

На посту Прокоп впервые заметил цветы. Они зацвели давно, но за работой, уставший, не видел их. Позиция покрыта тугими одуванчиками, пыльным, тускло-красным иван-чаем, разлились озера синеньких, неведомых Прокопу цветов. Залюбовался, собрал букетик, воткнул за ремень.

Тогда-то и поднялась в душе — неизвестно от чего — глухая тревога. Страх не было. Среди бела дня бояться... Да и карабин... Показалось Прокопу, что кто-то следит за ним. Должно быть, проверяющий: дескать, не заснет ли, не присядет ли, не сойдет ли с маршрута часовой.

Вскоре убедился: никто не смотрит на него, а тревога не проходит. Поднял сетку над лицом, чтобы лучше видеть (комаров отгонял перед глазами ивовой веточкой с листьями). Опустил предохранитель карабина, хоть и знал — уставом это запрещено. Правую руку положил на затвор.

Молочное марево белой ночи сгушалось над близким горизонтом, напоминая алюминиевый блиск самолета. Оттуда могли выскользнуть стрелы вражеских ракет, самолетов. Простая мысль пришла невольно, но потрясла Прокопа. И еще одно поразило его: наряд выпал в ночь с 21 на 22 июня (почему-то только сейчас осознал это), значит, его тревога была подсознательным ощущением войны, начавшейся ровно тридцать лет назад.

Оголилась вероятность того, невиданного, неперезитого ужаса. Пронизало, встряхнуло его. Почувствовал ее всеми клеточками, всеми нервами. Так родилось новое чувство — глухой, глубокой настороженности. Сколько нужно времени, чтобы отбить короткий хищный удар в спину, чтобы перехватить молнии вражеских самолетов и ракет, которые пересекут границу? Носил в себе эти нервами переплетенные секунды, готовился к ним. И понимал Прокоп: ощущение близкой опасности не оставит, оно навсегда, как военная присяга...

Война — это что? Не мог ответить. В каком-то учебнике по военному искусству сказано: война — это один из видов человеческой деятельности. Прочитал эти слова — как будто ударило. А сколько перед тем смотрел кинофильмов о войне, книжек прочитал! В нарядах

даже философов штудировал — Платона, Спинозу, Эразма Роттердамского, Руссо... Напрасно: постичь, объяснить не кому-то, а себе, что такое война, не мог. И сейчас подумал: «Мы солдаты, не видевшие, не знающие войн (уже которое солдатское поколение!). Война стирается с памяти солдата. Может, в этом знамение времени?»

Альбатрос не доел тушенки. Оставшийся кусочек сгреб лапой в уголок и снова лег, уже спокойнее. Солдаты засмеялись.

Прокоп возвратился на свое место. Жилков подвинулся, и он сел.

— Как брат, Юра? Скоро выздоровеет?

— А что ему?.. В госпитале тепло, спит вволю, кормят досыта, сидит себе — рисует. Аркаша советуется, написать ли матери о своей болезни. Я сказал — не нужно. Зачем ей знать, дело такое...

— Скоро возвратится?

— Пишет, скоро... Скучает по острову, — Юра поискал в кармане и вытащил потертый, вчетверо согнутый листок. Усмехнулся; — Видишь, как скучает...

На рисунке — ночь. Низко над водой светит месяц, а остров лунным отражением лежит на волнах. Бетонка пересекла его, и кажется, что остров подпоясан тугим солдатским ремнем.

А ведь и в самом деле остров напоминает формой молодой месяц, как и та счастливая земля, о которой мечтал Томас Мор. И может, глянув сквозь века на их остров, узнал бы он в потемневших на северном ветру лицах солдат какие-то черты своих утопийцев?

Прокоп стал думать об их солдатской коммуне, и слово «служба» наполнилось неожиданным и глубоким смыслом.

Лунным хрусталем стал их остров на рисунке Аркаши Жилкова и в душе каждого островитянина.

В полутьме холодного бомбоубежища видел Прокоп его хрустальное звонкое сияние.

3

Учения закончились, и в тот же вечер Аин вспомнил эстонскую поговорку: радость — дочка мира.

С Большой земли передали, что началась демобилизация. Зашумели, встревоженные, радостные.

— На вечернюю поверку — становись!

Замерли в строю, словно натянутые струны, звенела радость в казарме.

А затем сняли с вешалок в старшинской каптерке отутюженные до хруста мундиры, на-

мотали свежие портянки, надели яловые (а у него есть и хромовые) сапоги, полакомились в столовой специально испеченными по такому случаю блинами. Ехать!

Прощались друзья. Прокоп подходил к каждому, кто оставался, каждому сказал что-то хорошее. Чувствовал, как рады за него товарищи. Появились офицерские дети в казарме. Бегали, баловались, просили у дневального штык, чтобы поиграться. Они — частичка того долгожданного гражданского бытия.

Аин взял в старшинской каптерке шепелявый ротный баян, прошел с ним через казарму, растянул, и — на весь остров — «Прощание славянки».

У катера — офицеры с женами и детьми, солдаты. Приплелся запряженный в пустую повозку Ефрейтор Мадай (может, и ему весной

снится демобилизация?).

Северное небо всплакнуло по-женски. На склонившихся соснах (за зиму сосны согнулись еще сильнее, но ни одна не упала) чайки...

Сели на колоду, выбеленную ветром и морем.

Закурили на дороге.

— Товарищ капитан!..

— Ну, ребята!..

Говорили, молчали. А баян!..

Панченко завел свою «бортовку» и подвез демобилизованных к катеру.

Море, остров, солдаты на песчаном берегу... Солдатская земля!.. Все дальше, дальше...

Склонившиеся сосны будто мачты боевого корабля. Демобилизованным казалось, что остров летит, преодолевая ветры и время. Летит навстречу их солдатской мечте.

СОДЕРЖАНИЕ

Феликс Кузнецов. Путь к зрелости

1

САТТОР ТУРСУН. *С утра до вечера*

7

ПЕТР КРАСНОВ. *Шатохи*

20

НАДЕЖДА КОЖЕВНИКОВА. *Концерт*

33

ГАРМА-ДОДИ ДАМБАЕВ. *Гунсэма*

41

ТУРГАН ТОХТАМОВ. *Слово отца*

59

ИГОРЬ КРАВЧЕНКО. *Солдатский остров*

65

Составитель АЛЕКСАНДР ОЛЬШАНСКИЙ

ПОИСК

Повести и рассказы молодых писателей

Главный редактор Г. М. ГУСЕВ

Редактор *С. Гладкова*. Художественный редактор *С. Гераскевич*.
Технический редактор *Т. Таржанова*. Корректоры *Л. Коншина* и *М. Чупрова*.

На первой странице обложки фото *Н. Скурихиной*
Фото Гарма-Доди Дамбаева, Тургана Тохтамова и Игоря Кравченко выполнены
Н. Кочневым

Сдано в набор 25.09.78. Подписано в печать 16.11.78. А06590. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Новогазетная». Печать высокая. 10,08 усл. печ. л. 11,312 уч.-изд. л. Тираж 1 609 000 экз. (2-й завод: 500 001—1 609 000 экз.). Заказ 200. Цена 54 коп.

Издательство «Художественная литература». Москва Б-78, Ново-Басманная, 19

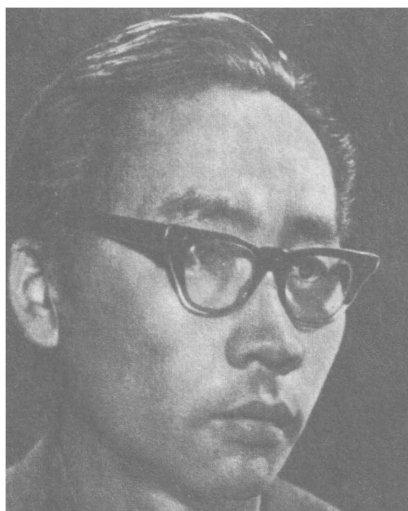
Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26

Отпечатано на Чеховском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Чехов, Московской области. Заказ. 2847

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В 1978 году
в «РОМАН-ГАЗЕТЕ» опубликованы:

- №№ 1—3. ИВАНОВ А. ВЕЧНЫЙ ЗОВ.** РОМАН.
Книга вторая.
- № 4. КОТОВ М. и ЛЯСКОВСКИЙ В. КУРГАН.** ПОВЕСТЬ.
- № 5. КУУСБЕРГ П. КАПЛИ ДОЖДЯ.** РОМАН.
Перевод с эстонского.
- № 6. КОЛЕСНИКОВ М. ШКОЛА МИНИСТРОВ.** РОМАН.
- № 7. РАСПУТИН В. ЖИВИ И ПОМНИ.** ПОВЕСТЬ.
- № 8. КОЛОСОВ М. ТРИ ПОВЕСТИ.**
- № 9. ТИАГО М. ДО ЗАВТРА, ТОВАРИЩИ.** РОМАН.
Перевод с португальского.
- №№ 10—11. ГОРБАЧЕВ Н. БИТВА.** РОМАН.
- № 12. МАРЧЕНКО В. ГОД БЕЗ ВЕСНЫ.** ПОВЕСТЬ.
- №№ 13—16. ПРОСКУРИН П. ИМЯ ТВОЕ.** РОМАН.
- № 17. СИМОНОВ К. МЫ НЕ УВИДИМСЯ С ТОБОЙ...**
ПОВЕСТЬ.
- № 18. ИСАЕВ Е. ДАЛЬ ПАМЯТИ. СУД ПАМЯТИ.** ПОЭМЫ.
— **МАРЦИНКЯВИЧЮС Ю. ПОЭМА ПРОМЕТЕЯ.**
Перевод с литовского. — **ФЕДОРОВ В. ЖЕНИТЬБА
ДОН-ЖУАНА.** ПОЭМА.
- № 19. СЕМИН В. НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ОСТ».** РОМАН.
- № 20. БОНДАРЕВ Ю. МГНОВЕНИЯ.**
- № 21. ОЛДРИДЖ Дж. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МОНГОЛ.**
ПОВЕСТЬ. *Перевод с английского.*
- №№ 22—23. ШУНДИК Н. БЕЛЫЙ ШАМАН.** РОМАН.
- № 24. ПОИСК.** ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.



Творческий путь бурятского прозаика **ГАРМА-ДОДИ ДАМБАЕВА** только начинается. Но все, что им уже написано, привлекает своей достоверностью. Писатель умеет раскрыть богатый внутренний мир простых людей. Со сдержанностью, порожденной хорошим вкусом, автор так рисует картины нелегкого чабанского труда, что кажется, будто ты познакомился с реально существующими людьми. А объясняется это тем, что творчество писателя тесно связано с его биографией.

Г.-Д. Дамбаев родился в 1941 году в селе Зугулай Читинской области. После окончания школы работал в родном колхозе чабаном. Уже во время службы в Советской Армии начал писать рассказы. Продолжал писать и после демобилизации, работая на заводе в Улан-Удэ.

В стенах Литературного института им. Горького была написана им «Гунсэма», талантливое произведение, правдиво и поэтично рассказывающее о женщине-чабанке.

Хочется пожелать доброго пути этой повести, а молодому бурятскому собрату по перу — дальнейших литературных успехов!

ВЛАДИМИР САНГИ



ТУРГАН ТОХТАМОВ родился в уйгурском селе Садыр за год до начала войны. Трудное послевоенное детство оставило в душе мальчика горькие, но и поэтические воспоминания. Впоследствии они будут присутствовать во многих его рассказах.

Но, прежде чем взяться за перо, Тохтамов накапливал жизненный опыт. Школа, географический факультет пединститута, учительство, работа в газете.

И вот у Тохтамова появилась потребность осмыслить прожитые годы, определить нравственные ценности своего поколения — так появились первые рассказы.

Надеюсь, читатель отметит искренность его рассказа «Слово отца», почувствует душевное беспокойство, тревожность повествовательной манеры Тохтамова, настойчивое желание автора сберечь память об ушедших отцах.

ВЯЧЕСЛАВ ШУГАЕВ



ИГОРЬ КРАВЧЕНКО — из когорты самых молодых украинских прозаиков. Начинал он как критик. Служба в рядах Советской Армии оказала влияние на творческую судьбу молодого исследователя литературы: он написал первую повесть — «Солдатский остров».

Обратившись к актуальной теме современной армии, И. Кравченко по-своему, с любовью рассказал о сегодняшнем юноше комсомольце в солдатской шинели, дни которого проходят в нелегком ратном труде, в боевой учебе, в тревогах и раздумьях, о том солдате, который не видел, не знает войны, но унаследовал боевые традиции отцов.

Рекомендуя читателям эту повесть-хронику, я хочу ее автору, вчерашнему воину, представителю нового литературного поколения, пожелать того, чего желают обычно солдатам, — мужества и побед!

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

